

Николай Лесков

Павлин



Николай Семёнович Лесков
Павлин

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175383

Содержание

I	7
II	12
III	20
IV	29
V	34
VI	40
VII	47
VIII	52
IX	56
X	64
XI	73
XII	79
XIII	84
XIV	89
XV	98
XVI	106

Николай Лесков

Павлин

Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок: откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель и как бы ни велико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия, – говорю *огромного*, потому что остров поистине прекрасен и грандиозные картины его восхитительны. На Валааме за обычай всякий паломник подчиняется *послушанию*: он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано; но, однако, мне, в сообществе трех мужчин и двух дам, удалось обойти в одну ночь весь остров и запечатлеть навсегда в памяти дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты, с их непробудною тишью, и из них особенно поражает скит Предтечи на островке Серничане. Здесь живут пустыnnики, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточною: они удаляются в Предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампы люди, умершие

миру, но неустанно молящиеся за мир: здесь вечный пост, молчанье и молитва.

Не зная направления валаамских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова, и, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединение местом для своей молитвенной и созерцательной жизни.

– Какие это люди, с какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтоб погребсти себя здесь заживо? – воскликнул один из наших собеседников. – Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа.

– Да; и вы правы, – отвечал другой, – это богатыри, но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже *прозябли* и пошли в рост.

– А пока они прозябли?

Собеседник улыбнулся и ответил:

– Пока они прозябли... они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы, и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву.

– Вы говорите так, как будто вы знали кого-нибудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях.

– Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека.

– Он был умен?

– Да.

– И рассудителен?

– Гм!.. да. А впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память.

– А он уже умер?

– Да.

– Здесь?

– Неподалеку, – ответил, снова тихо улыбаясь, собеседник.

– Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес.

– И во мне, и во мне тоже, – подхватили другие.

Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала:

– Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри, где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника.

Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе – и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал:

I

Назад тому лет двадцать, когда я был школяром и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моею теткой Ольгой Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Анной Львовной. Дом ее стоит и теперь на том же месте, на котором стоял; но только тогда он был известен как один из бóльших на всей улице, а нынче он там один из меньших. Громадные новейшие постройки его задавили, и на него никто более не указывает, как было в то время, с которого начинается моя история.

Начав свой рассказ не с людей, а с дома, я уже должен быть последователен и рассказать вам, что это был за дом; а он был дом страшный – и страшный во многих отношениях. Он был каменный, трехэтажный и с тремя дворами, уходившими один за другой внутрь, и обстроенный со всех сторон ровными трехэтажными корпусами. Вид его был мрачный, серый, почти тюремный. Впечатление, производимое им, было самое тягостное. Дом этот составлял часть приданого моей тетки, когда она выходила замуж за своего не совсем далекого родственника, очень много обещавшего в свое время, блестящего светского молодого человека, который, впрочем, кончил тем, что необыкновенно проворно спустил все незна-

чительное свое и значительное женино состояние и протянул руки к остаткам ее приданого, то есть к этому дому. Такое поползновение муж моей тетки обнаружил в Париже, где супруги в то время жили и где Анна Львовна думала, что она блистает красотой и может удивить ею весь свет – если бы только на глазах у этого света не мелькала какая-то дама полусвета, с которою борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь сей последней была до того баснословна, что самые солидные дамы интересовались: откуда все это берется у этой куртизанки? Интересовалась, вероятно, этим и моя тетушка Анна Львовна и получила от своего мужа в ответ, что завидное положение проходимки зависит от щедрости какого-то разбогатевшего в индийской компании англичанина; но вскоре оказалось, что все это вздор и что богач-англичанин был не кто иной, как сам супруг моей тетушки, самым неосмотрительным образом распорядившийся ее состоянием в пользу этой темной звезды. Увлечение его зашло так далеко, что у них не осталось ничего, кроме петербургского дома, о котором я говорю. Узнав об этом, тетка Анна Львовна побесновалась, порыдала, а потом взялась за ум и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердия: она уничтожила формальным порядком свои доверенности на имя мужа – и, бросив его в Париже на жертву кредиторам, укатила назад в Россию и поселилась в своем доме. Дом этот давал изрядный доход, так что тетка могла без нужды жить этими средствами и вос-

питывать сына Вольдемара, или, по-домашнему, Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о нем не говорила: так он где-то пропал, и наконец, совсем пропал за границу в полной безвестности. Одни говорили, что он умер где-то в долгой тюрьме; другие уверяли, что служил в должности крупье в каком-то игорном доме. Но это для нас все равно. Тетка Анна Львовна к тому времени, когда я ее узнал, была женщина лет сорока пяти; она еще сохраняла следы довольно замечательной, хотя самой неприятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русского бомонда. Анна Львовна жила в своем доме, занимая половину прекрасного бельэтажа. Это было большое помещение, которое давало тетушке возможность жить как должно большой даме, притом даме строгой и солидной, какую она слыла у огромного числа посещавших ее высокопоставленных людей. Она любила немножко рисоваться своим положением, жаловалась при случае на свою незащищенность и ограниченность вдовьих средств – и превосходно обделывала свои дела. Благодаря ее связям и ловкости воспитание сына ей ничего не стоило, она кроме того каким-то образом исходатайствовала себе очень порядочную субсидию за «беспримерное несчастье», а доходы с дома копила. Анна Львовна была женщина очень расчетливая и, по правде сказать, весьма бессердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить из ее поступка с мужем, которому она никогда не простила его вины и не помогла ему в его бедственном положении ни од-

ним грошом. В доме тетки все ее боялись и трепетали: я это знал отлично, потому что, живучи в одном из флигелей ее дома, я мог наблюдать, как на нее смотрели люди. У тетки не было управляющего: она сама заведовала домом и была госпожою строжайшею и немилосерднейшею. У нее был порядок, что все жильцы должны были платить ей за квартиры за месяц вперед, и если кто не платил один день, тому сейчас же выставляли окна, а через два дня вышвыривали жильца вон. Льготы и снисхождения не оказывалось никому, и их никто из жильцов не пытался добиться, потому что все знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро: она сама была для жильцов никогда не видима, и к ней никого из них не допускали ни под каким предлогом, – она только отдавала приказания, и немилостивые приказания эти приводились в исполнение. Говорили, что в исполнении этих приказаний никогда не допускалось ни малейшей поблажки, но тетка все-таки находила, что исполнители ее воли действовали еще довольно слабо, и переменяла многих из них, пока не нашла, наконец, одного, который вполне удовлетворял ее немилосердной строгости. Этот замечательный человек был швейцар Павлин Петров, по фамилии Певунов, или попросту, как его звали, *Павлин*. Рекомендую этого человека особенному вашему вниманию, потому что, несмотря на его скромное положение, он будет героем начатого вам рассказа. По этому же самому я и опишу его вам несколько поподробнее и расскажу, как мы лично имели удовольствие познакомиться

с этим антиком в пестрой ливрее.

II

Когда мы с матушкою поселились в маленькой квартирке одного из флигелей второго двора теткиного дома, Павлин Певунов уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что называется, ее правою рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, основанные на самых глупых выводах и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за сорок, он был мужчина высокий, плотный и очень стройный; светлый блондин, с большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным умным лбом, замечательною строгостию в лице и достоинством в движениях и во всей его в глаза бросавшейся многозначительной позитуре. Можно держать какое угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской ливрее; но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. В расшитом галунами длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой, убранный галуном перевязи, в трехугольной

шляпе и с блестящею вызолоченною булавою в руках. Павлин был настоящий *павлин*, и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юноною из Аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств, но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холе и, по обычаю буржуазных домов, нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тетушкин Аргус: при его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках, — и это для всех было тем удивительнее, что Павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру — самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чисто им содержимой комнате, скрытой за колоннадою просторного парадного антре, где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон, старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как Павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство? Два выходившие на улицу окна клетки

Павлина были всегда задержаны чистою кисеею, на них стояли горшки с цветами – и если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри горевшею перед образником лампадою, то тот мог только видеть верх очень чистых, густою голубою краскою выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у Павлина в кармане. Досужих людей, которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой Павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом, так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не порывался. Что так тщательно хранил Павлин в своей вечно запертой комнате, – этого никто не мог отгадать, а так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за Павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока, – поэтому комитет объявил, что Павлин «молокан». Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности Павлина настолько, что все почил в спокойной уверенности, что Павлин *гордец по религии*. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь: Павлин действительно был заносчив и горд и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно: он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по

уму, ни по характеру. Прошлое его было мало известно: были слухи, что он из крепостных людей, служил камердинером у какого-то важного лица и лет пять тому назад откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу; но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которою и живет в швейцарах, храня в своей запертой камерке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною; сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он проводил однообразно и рассчитанно, как часы: рано утром он появлялся в антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем Павлин выходил в одной ливрее на лестницу и отправлялся к тетушке; тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал и все сплетничали невероятный, невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее Павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовою книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевязь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным сафьяном кресло и на-

чинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом Павлин занимался до десяти. С последним ударом десятого часа он ставил к колонне булаву, сменял треугольную шляпу обшитую галуном фуражкой и в этой полужоформе выходил через ворота на двор; мимоходом он молча ударял рукою в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали два рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга.

Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что такое производило на всех в доме это утреннее шествие Павлина по дому в сопровождении двух следовавших за ним ликторов. Из всех окон длинных флигелей внутреннего двора, занимаемых бедными жильцами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры; нередко вслед ему слышались бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще проклятия и слезные вопли; Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение, как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения, и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что Павлин

идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов дробных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля – в том основательном расчете, что дробные квартиры всегда приносят более, чем крупные, потому что они занимаются людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие Павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему номера и звонит у двери; ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает; он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут – и все стоит, а потом звонит во второй раз, не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своею книгою, а сопровождающие его люди между тем ждут его на террасе. Если он минуты через три выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру, для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его *распоряжений*. Все ждут этих распоряжений, и все молят бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжения?..

А вот что: вот Павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы Павлиновых сопутников; топор и клещи работают с неопи-санною быстротою и ловкостью, рама исчезает – и в обезрам-ленное окно несется женский крик и детский плач, а Павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается ис-чезающею из окна рамою... И опять крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удер-жать и сберець вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями...

Чем далее в глубь дворов и чем выше этажи по лестни-цам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения Пав-лина повторяются чаще. Я хотел было сказать «и тем реши-тельнее», но у Павлина ничего никогда не было мало реши-тельно.

Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые Павлин собственною ру-кою запирает в особый чулан у себя под лестницею и затем спокойно садился в свое высокое кресло с бронзовым дра-коном на спинке и начинал читать *Пчелку* и другие газе-ты, которые получались в доме, проходя непременно пред-варительно через Павлиновы руки. Это чтение, по-видимо-му, очень его интересовало, и он занимался им во все свои

свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, Павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке.

За этим занятием, кроме посетителей, которым Павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, его за этим же занятием заставляли другие посетители – это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утром усиленной вентиляции через вынутые рамы.

Если неисправный жилец приносил деньги, Павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилища являлись с жалобой, пенями или просьбой льготы, то опять молчание, звонок, дворники – и проситель выводился, не услышав в ответ на свои жалобы ни одного слова.

Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый Павлин, с которым потом с самим судьба сыграла не менее знаменитую штуку, чем все разыгранные им с жильцами теткина дома.

III

Мы с матушкой и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшеюся при нездоровье татапа моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, и не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время. Вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, а моей матери, которая бог весть почему заборорассудила жить в доме своей золовки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с Павлином. Мы перебирались в тетушкин дом в самый рождественский сочельник. День был морозный и, по обыкновению в это время года в Петербурге, очень короткий, так что когда возы с нашею небогатою мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартире; но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для этого, и она пришла и сказала людям: «Вносите», но люди только переглянулись, а из-за плеч их

вырос Павлин и за ним два его адъютанта с известными инструментами.

– Что тебе, батюшка, угодно? – спросила татап.

– Деньги пожалуйста за месяц, – отвечал Павлин, разворачивая перед татап свою книгу.

– Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утром пришлю, – отвечала татап с родственною короткостью, отстраня от себя рукою и книгу и Павлина и подзывая своих слуг; но слуги не трогались, а Павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он до завтра не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту.

Матап сочла это за невежливость: она так обиделась, что побледнела.

Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно: он насупил брови и с некоторою нервною нетерпеливостью в голосе проговорил:

– Сударыня! Здесь такой порядок.

– Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить... – Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.

Павлин ответил ей на ее последнее замечание:

– Могу-с.

– Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя?..

– Знаю-с.

– А знаешь, так что... так чего же тебе?..

– Деньги-с... я без того не могу позволить вносить ваших вещей.

– Как не можешь позволить? Но неужто же вещам стоять ночь на дворе, и нам на полу спать?

– И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна, – отвечал Павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил: – У нас такой порядок.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгою в передней и не обращал ни на что это никакого внимания.

– Но это смешно, – воскликнула тата, – я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра... Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги. Но... но что за глупость! Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать, – добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне.

– Это будет напрасно-с, – сухо ответил Павлин.

– Ну, уж это не твое, батюшка, дело.

И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке, меж тем как Павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам – и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул пронизывающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства Павлина, оглянулся и увидел, что дворники

несли в руках по одной внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась татап и, вся дрожа от холода и негодования, сказала по-французски:

– Представь, Ольга, какова эта Анна Львовна? Вообрази: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала.

– Это ужасно! – отвечала татап. – Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались; но мне сказали, что она уехала ко всенощной. Как она может быть у всенощной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда: пусть всё бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме! Одевайся и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя!

Отпустив этот последний комплимент по адресу Павлина, моя нервная татап начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятение еще более усиливалось; дворники, с вынутыми рамами в руках, тихонько пересмеивались; извозчики внизу кричали и шумели, ропща, что их долго не отпускают; по квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гете, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюлке, вклеенной в моей детской книжке. Павлина как будто

вовсе не трогали мелкие страдания людей: он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел.

Но, помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось; вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетка Ольга. Она отвела татап немножко в сторону и, говоря с нею по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет и что мы почтенной Анне Львовне ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде и ни одним из них не переубедилась.

– Но я уверена, что это не она, а этот грубиян, – молвила, смягчаясь, татап.

– А я уверена, напротив, что это именно *она*, а не «этот», как ты его называешь, «грубиян». Он мне кажется очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить; я это уважаю и ценю, – отвечала Ольга.

– Но что же нам делать? Это смешно: у меня недостает денег, я забыла их взять...

– Мы их достанем и заплатим.

– Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых (мы тогда только переселились в Петербург из провинции). Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

– Нет, не у нее, – молвила тетя Ольга и с этим, подойдя к

Павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила: – Не можете ли вы взять от нас это до послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим.

– Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги, – отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге.

Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонацией своего голоса за то, что она о нем сказала тапан.

– Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку.

Павлин подумал – и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требование Ольги, заложив ее кольца у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено.

Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы – и, получив, что ему следовало, за квартиру, вежливо поклонился и вышел.

Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротой, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе Павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением и привела в самое веселое расположение не только тапан и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая ее чертовкой, и ведьмой, и другими лестными названиями.

Через час у нас вся мебель была поставлена на место, мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок; а еще через другой час, который мы с матушкой и теткою провели во всеобщей, мы застали нашу квартиру уже теплою и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Матан говорила, что мы здесь не останемся долее месяца, а если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры, к крайней досаде матан, не находилось, а та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала матан и мало-помалу убедила ее не горячиться и не переезжать отсюда до лета.

– Мы ее этим не накажем, – говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну, – а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?

Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решила остаться еще на месяц, но только с тем, чтобы «грубиян», то есть Павлин, не возмущал ее спокойствия и никогда не показывался к нам в квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить – и под тот день, когда

нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их Павлину.

С Анной Львовной не виделись ни татап, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне я, при всей моей тогдашней неопытности, замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе не знакомые хозяйке люди, и это нас нимало не тяготило, – ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как Павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег; после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи; но это нас непосредственно не касалось, и мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила «чудовища-привычки». Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый Павлин с физио гномиею и позитурою Гете, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон и полное равнодушие всех к этому самоуправству – все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам Павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление, лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока; точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц, и такой порядок у нас установился, и

благодаря ему мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун рождества. Мы вспоминали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах, но вспоминали так, мимоходом, равнодушно: «вот-де у нее гости» или что-нибудь подобное. Что же касается до Павлина, то я и сам не знаю, как это случилось, что имя его, бывши у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение.

IV

Если установившееся у нас доброе мнение о Павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, к которой он при всякой встрече относился с бесконечной аттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка шутя смеялась над тетей Ольгой, что она совершила Даниилово чудо над зверем, поработив себе Павлина, но в этой шутке была своя доля истины: Павлин благоговел перед теткой, хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с Павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались Павлином: он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю ливрею, и тамап, начавшую симпатизировать ему за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне Львовне.

Так шло довольно долго: мы всё продолжали жить в доме Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, как вдруг совершенно неожиданно представился повод к ближайшему с

ним знакомству. Это случилось таким образом, что татап, будучи недовольна кем-то из прислуги, нанимала другого человека. Вместо отходящего был отыскан и ангажирован другой, и на следующий день этот новый слуга должен был прибыть и вступить в отправление своей должности, но в предшествовавший этому дню вечер тетя Ольга получила с дворником конверт, надписанный на ее имя. Почерк был незнакомый и из нешегольских, каким пишут на Руси грамотные самоучки; в конверте оказалось письмо, писанное опрятно, на чистой бумажке, но тем же самоучковым почерком, и содержало оно в себе, сколько я помню, от слова до слова следующее: «Ваше Высокоблагородие Ольга Петровна! Госпожа ваша сестрица договорили себе прислугу (имя рек), но сей договоренный есть человек легкомысленный, а потому к доверенности ему ненадежный, о чем приемлю смелость вам для предосторожности доложить». Подпись: «швейцар Павлин Певунов». Тетка показала это письмо матушке, и та решила послушаться предостережения, которое делал Павлин, и договоренному легкомысленному слуге был послан отказ, а татап, идучи на свою обычную прогулку и встретив на дворе Павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антик снял свою шляпу с галуном и ответил татап молчаливым, но вежливым поклоном. Вечером татап, сидя за чаем, сказала тетке Ольге:

– Но, однако же, нам все-таки нужен слуга. Господин Павлин нам одного опорочил, а где искать лучшего – не показал.

– Это и не его дело, – отвечала тетка.

– Знаю; но... он бы, я думаю, мог нам порекомендовать, если бы захотел.

– А ты его разве просила?

– Нет; да он, кажется, со мною и не желает говорить – взглянул оком по меньшей мере министерского величия и откланялся. Другое дело, – пошутила она, – если бы ты его об этом попросила: для тебя он, верно, за высокую для себя честь почтет оказать нам эту услугу.

Тетка приняла эту шутку с обыкновенно свойственной ей веселостью и так же шутя отвечала:

– Хорошо: я его попрошу.

На другой же день тетушка, идучи куда-то перед вечером, вместе со мною зашла в швейцарскую, где Павлин, по обыкновению, сидел один в своем кресле и читал перед зеленою лампою книгу.

Увидев тетку, он тотчас же положил на стол книгу, вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный рост, принял позитуру Гете.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлин сдвинул брови, подумал и отвечал:

– Нынче обстоятельных к своей должности слуг нет.

– Так вы и не можете нам никого рекомендовать?

– Не смею-с, потому что никого такого не предвижу.

Мы отошли ни с чем, и когда вернулись домой, то татап не мало потрунила над тетушкой, что власть сей последней

над Павлином Певуновым не плодотворна и он все-таки грубый бирюк; но тетя и тут защищала его, говоря, что она и в этом его отказе видит только новое доказательство его обстоятельности и благоразумия: он осторожен, говорила она, потому что «обстоятельный человек». А знай он кого-нибудь, за кого бы мог поручиться, он бы, конечно, непременно порекомендовал.

И тетка не ошиблась: к ее вставанью на следующее утро опять появилось краткое письмо, которым Павлин, в лапидарном стиле, просил ее повременить дня два наймом слуги, ибо он получил какие-то сведения об известном «обстоятельном господском служителе, бывшем одних с ним господ».

Тут сказались настоящие чувства татап к Павлину: она перестала говорить о нем как о грубияне и очень обрадовалась, что может иметь слугу одной с ним школы, и изъявила согласие ждать рекомендованного Павлином человека хоть целый месяц. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчас же было нанято и вступило в должность скромного лакея нашего скромного жилища.

Поставленный Павлином человек был несколько старше его и гораздо его простодушнее и добрее. Он даже совсем был добряк и имел веселый и открытый характер и необычайную кротость и исполнительность, чем и заслужил у нас сразу всеобщее доверие и расположение, хотя, разумеется,

ему в этом немало содействовала рекомендация Павлина, оказавшего нам таким образом первую услугу.

Вскоре он сделал и другую: мы собирались на лето в деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимого человека дома при квартире, и что же? Не успели мы об этом поговорить дома за нашим вечерним чаем, как утром опять к тетушке послание: Павлин, опять в том же лапидарном стиле, извещает, что нам отнюдь не нужно никого оставлять на лето в своей квартире, так как он, Павлин, «сам достаточно может ее досмотреть без всякого затруднения». Принять это одолжение было очень соблазнительно; это отлично улаживало все наши дела, и вопрос мог быть только в том, как вознаградить Павлина за его досмотр? К обсуждению этого вопроса был допущен наш слуга, но от него получился по этому поводу решительный протест.

– Павлин Петрович – человек амбиционный, – сказал он, – он это предоставляет из чести, и платою его можно несносно обидеть.

Так это и осталось: ни татан, ни тетка Ольга решительно не могли придумать, чем бы поблагодарить «нашего *доброго* Павлина».

Павлин у нас начал именоваться «*добрым*». Так изменял он в наших глазах свою репутацию в преддверии наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусе в борьбе чувств, ему, по-видимому, вовсе не свойственных.

V

Мы уехали и возвратились, застав свою нежилую во все время нашего отсутствия квартиру в чрезвычайном порядке, а из дверей в двери против нас в другой квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама с престарелою матерью и шестилетнею дочерью, очень красивою девочкою. Нам, разумеется, до этих новых соседей не было никакого дела, но татап и тетка невольно обратили внимание на одну замечательную странность фамильной черты всех трех лиц наших новых соседок: все три они были в разных порах жизни, но у всех у них на лицах – в красоте меркнувшей, цветущей и еще только распускающейся – была как бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначение к несчастию.

Тетка Ольга первым делом позаботилась узнать, не бедны ли они, – и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилец; оказалось, что у молодой дамы есть муж, который служит полковым врачом, и они живут не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «Слава богу». Это «слава богу» касалось и наших соседок и самой тетки, которая в первую же ночь по нашем возвращении в город видела во сне, будто к нашим соседкам пришел Павлин и его распинатели, и будто из их окон выкидывали все на двор, и в ту же пору со двора поехал гроб, на этом гробу сидела та прекрасная

девочка с растворенною печалью в лице и чертами рокового несчастья, а за этим поездом очутился Павлин в своей пестрой ливрее с расписною перевязью и в шляпе. В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой – его собственная отрезанная голова, а вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы: они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями, а оттуда, с высоты, с этих крыльев сыпались белые перышки и по мере приближения к земле обращались в перетлевший пепел. Минута – и от всей пестроты Павлинова убора уже не осталось и знака, а он стоял весь черный, как обгорелый пень, и был опять с головою, но с какою-то такою страшною головою, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась, – но проснулась с убеждением, что она видела сон вещий, который не может пройти без последствий.

Тетка не ошиблась: ее сон был в руку, и непрерываемого Павлина ждало тяжкое и роковое испытание.

Дело началось с того, что, проснувшись однажды в жестоко холодное крещенское утро, мы увидали в квартире наших новых соседей три выставленные окна. Матушка и тетка тотчас же поняли, что это работа нашего «доброго» Павлина, и так и ахнули. На дворе, как я вам сказал, стояла жестокая стыдь, и нетрудно было себе представить, что теперь должны были переносить злополучные женщины, жилище которых добрый Павлин привел среди зимы на летнее положение. Очевидно, они должны были коченеть в своих комна-

тах без окон. Матап с свойственной ей нервностью страшно разгневалась; назвала несколько раз «добрého» Павлина палачом, жидом и разбойником и послала девушку просить соседок сделать ей одолжение занять на время одну из наших комнат, которая сию же минуту и была приготовлена к их принятию. Но девушка возвратилась с ответом, что самой соседней барыни нет дома, – что она куда-то ушла, а старушка мать ее благодарит за участие, но решительно отказывается принять матушкино предложение. Отказ старушки был мотивирован тем, что она ждет дочь и уверена, что та скоро возвратится с деньгами, тогда-де заплатим, и все опять будет в порядке. Матап опять послала второго посланца просить, чтобы к нам отпустили хоть маленькую девочку, которой вынутые из окон рамы угрожали простудой. Это посольство было задачливее: я точно сейчас вижу, как к нам привели шестилетнюю девочку с прехорошеньким, но будто отмеченным какою-то печатью несчастья лицом. Есть такие лица, есть: по крайней мере я не раз встречал их. Наша маленькая гостья, очевидно, неясно понимала тогда затруднительное положение своего семейства и, освобождаясь из шелкового ватощника, в котором ее привели в нашу переднюю, обратила свое внимание на то, чтобы взойти с известною грацией и сделать реверанс, что ей вполне и удалось. Видно было, что о ее внешней благовоспитанности и манерах заботились, – впрочем, тогда дети, не умеющие войти и поклониться, еще не входили в моду, – фребелевских матерей у нас еще не бы-

ло.

Пока мы обогрели девочку, которую звали Любою, ее мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видели, как эта молодая дама прошла к себе в квартиру, но, к величайшему нашему удивлению, она не спешила из квартиры прибежать или прислать за дочерью, и за нею, как бывало в подобных случаях, если недоимка была вымогнута, не несли выставленных рам... Все это были плохие знаки. Нетрудно было отгадать, что бедная соседка наша вернулась без денег: мать и тетя Ольга поняли это сию же минуту, и последняя, нимало не медля, бросилась в разоренную квартиру, а еще через минуту вернулась назад, щелкнула ключиком своей шкатулки и снова убежала к соседям. Десять минут спустя по двору подвигалась известная процессия: дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбан с замазкой, а за всем этим пестрый Павлин с его, до сих пор в трепет меня приводящею, платежною книгою. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужные деньги и что соседки наши приняли их и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена в порядок и топилась. Но как комнаты, оставаясь в течение нескольких часов без окон, значительно настыли, то татап и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили к себе на весь день и ее мать. Просили и бабушку Любы, но старушка вежливо благодарила, а ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидела у нас до полуночи и, горько плача,

рассказала, что муж ее служит врачом в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков, что состояния у них никакого не было и нет; но что они жили без нужды до тех пор, пока муж ее не выступил с полком в поход. Сначала он присылал им на содержание, но вдруг два месяца замолк, и они не имеют о нем ни слуха ни духа.

– Бог весть, – говорила, рыдая, дама, – может быть... его уже нет в живых, или он в плену, или с ним случилось еще что-нибудь худшее – и тогда... мое бедное дитя... мое бедное дитя, что с ним будет?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекал, усадив ее на кресло и стоя перед нею на коленях, и вдруг быстро отвернулась и, закрыв рукою глаза, молвила в каком-то вдохновении:

– Темно, темно: я не могу глядеть в эту темнь!

И она вдруг затрепетала, рванулась к ребенку и, прижав к груди своей ребенка, замерла.

Тетка Ольга знала более; она знала, что кормильца этих сирот уже не было на свете: его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка. И бабушка знала об этом и сказала это тетке Ольге с тем, чтобы она помогла ей открыть роковую весть бедной вдове и пособила бы ей принять весь ужас ее беспомощного положения.

Тетка, вероятно, исполнила как-нибудь это печальное поручение, хотя я не знаю, как и когда она это сделала, потому что моя впечатлительная и нервная татап после этого дня

ни за что не хотела оставаться в нашей квартире, и мы вскоре же действительно выбрались в другой дом, где не было ни Павлина, ни жестоких порядков, которые он с такою суровостью приводил в исполнение.

VI

Мама, как очень многие впечатлительные женщины, более всего избегала сцен возмущавшего ее жестокосердия и заботилась о том, чтобы *не видать их*; но нервы тетки Ольги были крепче, и она не боялась становиться с горем лицом к лицу, а потому она и здесь не оставила наших злополучных соседок и навещала их с своей новой квартиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, не позволяла ей спросить у них: есть ли им чем заплатить за следующий, наступающий месяц, но она стерегла и подкарауливала, как им обойдется урочный день наступающего срочного платежа. Я помню, как она тревожно и с каким сердобольным беспокойством берегла в своей памяти этот день, страшась, как бы не просчитать его, и, дождавшись, когда он наступил, рано утром побежала в дом, где наши бедные соседки оставались во власти Павлина. Взбежав на двор, она прежде глянула на их окна... рамы были на месте... Тетка успокоилась. Прошел и еще месяц – и тетка Ольга опять точно так же стерегла срочное число и опять с деньгами в кармане побежала к старым соседям, и опять все застала в полном порядке и спокойствии, какое было возможно в их стесненном положении. По крайней мере квартира была тепла, хотя, видимо, все мало-помалу пустела. На третьем месяце у этих бедных жильцов умерла старушка бабушка... Ходили странные слухи: го-

ворили, будто она отравилась фосфорными спичками и сделала это в полной памяти и с знанием дела: она распустила фосфор не в воде и не в спирте, как это делает большинство отравляющихся этим способом, а в масле, в котором фосфор растворяется совершенно. Говорили, что она отравилась с единственной целью не обременять собою бедную дочь, которая не хотела ее оставить и бедствовала, давая дешевые уроки, тогда как она с одною девочкою могла бы поступить куда-нибудь классною дамою или гувернанткою. Бабушка хотела развязать своей дочери руки, и развязала их с удивительным спокойствием. Справедливы или нет были все эти толки об отраве – я наверное не знаю; но только старушку, однако, схоронили без всяких полицейских историй, а расчет ее оказался неверным: хотя она и развязала руки дочери, но дочь ее не получила желаемого места, – а напротив, бегая по своим дешевым урокам, совсем надломила свой потрясенный организм, после чего ей довольно было самой маленькой простуды, чтобы у нее развилась жестокая болезнь, менее чем в месяц низведшая эту бедную женщину в могилу.

Она умирала, не оставляя дочери ничего: ни имения, ни добрых людей, даже моей доброй тетки Ольги не было тогда в городе, потому что она об эту пору ездила в другой город к родным и возвратилась в очень скверный день, когда по грязному снегу ранним февральским утром на Волково кладбище тащились бедные дроги с гробом, у изголовья которого тут же, на дрогах, сидела заплаканная Люба,

а сзади дрог шел... Павлин... Словом, все точь-в-точь, как тетка Ольга видела когда-то во сне. Павлин был с непокрытою головою, облаченный для сего печального случая в серую шинель на старом волчьем меху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этим событием, и, переговорив с татан, решили взять сиротку Любу к нам, пока удастся ее куда-нибудь устроить; но все это оказалось излишним: Люба была уже устроена, и, вероятно, не хуже, чем бы могли устроить ее мы с нашими весьма ограниченными средствами и без всяких сколько-нибудь веских и значительных связей. Виновником попечительных забот об осиротевшей девочке явился тот же самый Павлин, который два месяца тому назад вымораживал ее вместе с ее матерью и бабушкой.

Когда тетка Ольга, окончив свои переговоры с татан, пришла в швейцарскую Павлина, чтобы узнать от него, где Люба, она не нашла его, на его обычном кресле. Это было едва ли не первое нарушение Павлином своих обязанностей с тех пор, как он надел в этом доме пеструю ливрею и взял в руки блестящую булаву.

Осведомись у кого попало о швейцаре, тетка узнала, что он уже возвратился с кладбища к себе и пронес туда на руках в свою комнату девочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась к неприкосновенному апартаменту Павлина и растворила дверь. Перед нею открылась очень маленькая комнатка, с диванчиком, на котором помещалась плачущая Люба, а перед нею стоял на

коленях Павлин и переменял на ребенке промокшую обувь.

При входе тетки он встал и, вежливо поклонясь ей, сказал:

– Сударыня, верно, изволили пожаловать насчет барыш-ни?

– Да, – отвечала тетка.

– Изволите желать взять их?

– Да.

– Как вам угодно.

Девочка тянулась к тетке, и мы ее взяли, но ввечеру того же дня к нам появился Павлин и просил доложить тетке, что он пришел переговорить о сироте.

Павлина позвали в зал, куда к нему вышла и тетка. Они говорили около получаса, по истечении которого Павлин ушел, а тетка возвратилась к маме в восторге от ума и твердости характера Павлина.

Павлин, явясь к тетке, объяснил ей, что желает взять Любу на свое попечение, но не настаивает на этом, если девочка может быть устроена лучше. А для того, чтобы дать тетке возможность судить о его средствах и благонадежности, он нашел нужным рассказать ей свое прошлое и представить нынешнее свое положение и планы насчет Любы. По его словам, он был крепостной человек, обучен музыке, но не любил ее, и из музыкантов попал в камердинеры, потом откупился дорогою ценою на волю сам, своею единственною душою; но после собрал трудами и бережливостью довольно большую для его положения сумму, он выкупил на волю

свою старуху мать, сестру и зятя и снял им на большой тульской дороге хороший постоялый двор. Затем, считая себя обязанным помогать хозяйству этих родственников, он сам не женился и жил для родных; но назад тому с месяц он получил известие, что все его родные вслед друг за другом умирали холерою. Оставаясь теперь совершенно одиноким и находя, что ему время для женитьбы уже прошло, Павлин выразил желание остаток дней своих посвятить сироте Любе, которая, по своему положению, сделалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою так тронуло это доброе движение, что она подала Павлину руку и посадила его, чтобы он обстоятельно изложил ей свой план, которому думает следовать насчет Любы. Тетка была уверена, что степенный Павлин, решась взять дитя на свои руки, непременно имеет ясные намерения, которые и рассчитывает привести к выполнению, и она не ошиблась. Павлин действительно имел план, и притом весьма обстоятельный, удобоисполнимый и вполне отвечающий его солидному и твердому характеру. Он приготовился не только взять девочку и воскормить ее, но расчел весь путь, каким она должна была войти в жизнь и стать в ней твердою ногою. При этом он обнаружил в своем характере некоторые до сих пор еще не замеченные в нем черты, а именно: прямо-ту, скромность и презрение к тщеславным посягательствам человека на высший полет. Павлин избирал сироте, может быть, очень скромную долю: он сказал тетке, что намерен

отдать Любу в школу к одной известной ему очень хорошей даме, где девочка года в четыре обучится необходимым, по его соображению, наукам, то есть чтению, письму, закону божию и арифметике, а также «историческим сведениям», а потом он отдаст ее учиться рукоделиям, а сам в это время к выходу ее из этой последней науки соберет ей денег, откроет магазин и потом выдаст ее замуж за честного человека, «который ее мог бы стоить. Этак, – говорил он, – я располагаю, будет гораздо вернее, потому что к благородству, если удастся судьба, можно всегда очень легко привыкнуть, но самое первое дело человеку иметь средства на себя надеяться».

Тетке, которая всегда была сама очень умна и проста, этот простой и удобный план воспитания необыкновенно как нравился, но татап план Павлина не совсем был по мысли: она находила, что никто не имеет права таким образом «исковеркать будущность бедной сиротки против того, на что она имела право по своему происхождению». На этом татап и тетка никак не могли согласиться, и они, вероятно, долго бы спорили, если бы в дело не вмешался случай и не порешил все это по-своему: здоровье татап потребовало перемены климата, и она должна была уехать на год далеко из Петербурга к своему брату; меня отдали в Петербурге в пансион, а моя добрая тетка отъехала в иную сторону и устроилась особенным образом: она поступила в один уединенный женский монастырь на берегу Днепра за Киевом. Сиротку Любу таким образом волею-неволею пришлось вве-

ритель исключительным попечениям Павлина, которого рвение устроить это дитя и средства все это сделать были притом едва ли не далеко превосходнее наших. Притом же и нравственные ручательства, которые Павлин дал тетке при прощании с нею, значительно успокаивали ее за судьбу Любы. Павлин объяснился тетке в таком роде:

– Я знаю, сударыня, – сказал он, – что меня считают злым человеком, а это все оттого, что я почитаю, что всякий человек должен прежде всего свой долг исполнять. Я не жестокое сердце имею, а с практики взял, что всякий в своей беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает. Надо помогать человеку не послаблением, так как от этого человек еще более слабнет, а надо помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от немилостивых людей сам себя оберегать.

И так мама и тетка, оплавав Любу, оставили ее Павлину на его произвол делать из нее женщину без слабостей и способную саму себя оберегать, а вышло, что она – эта маленькая девочка – сделала из самого Павлина то, чем этот крепкий человек вряд ли думал сделаться.

VII

Время шло; Павлин воспитывал Любу точно так, как обещал моей тетке в первом их разговоре об этой сиротке. Пока я проводил последние годы в гимназическом пансионе, Люба училась в домашней школе у одной дамы, которой Павлин платил за учение и содержание своей питомки с свойственной ему аккуратностью. Здесь Люба, разумеется, не набралась больших знаний, но, однако же, все-таки узнала гораздо более, чем считал для нее нужным и полезным Павлин. Занятый своим делом, я было совсем позабыл о Любе, но, увидав ее случайно на улице вскоре после своего поступления в университет, я тотчас же ее вспомнил и очень ей обрадовался. Мне тогда было лет восемнадцать, а Любе шел четырнадцатый год. Она расцветала и обещала быть очень красивой девушкой, у нее выполнялась очень стройная и преграциозная, миньонная фигурка; головка ее была повита густыми волнующимися золотистыми волосами самого приятного цвета, и при этом – черные брови и длинные темные ресницы, из-под которых глядели два большие темно-синие глбза. Я так был поражен ее красотой, что противу воли моей не умел этого скрыть, и мы оба друг друга сконфузились и расстались, не успевши наговориться. Потом еще через год мы с нею снова встретились в церкви за ранней обедней, где она, еще более расцветшая, стояла впереди Павлина, глядевшего

на нее, как мне тогда казалось, с глубочайшею нежностью. Восемь лет имели на Павлина небольшое влияние, но влияние не особенно разрушительное: он только начал сесть и потучнел, но все-таки был молодцом для своих пятидесяти лет. В его выходном костюме не было никакой разницы; Люба же у него была одета скромно, но очень опрятно и держалась барышней, – Павлин, в поношенной коричневой бекеше, казался ее дядькой. Он, как я вам сказал, стоял сзади Любы и держал на руке ее плащ и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому что в церкви было довольно жарко. Жарко было всем, но казалось, что Любе было особенно знойно и томно: она краснела как маков цвет, и взгляд ее представлялся мне беспокойным и растерянным. И еще что было замечательнее, эта видимая напряженность ее состояния усиливалась по мере приближения службы к концу. Мне сдавалось, что в этой напряженности кое-что принадлежит моему неожиданному появлению перед Любой, так как она, увидав и очевидно узнав меня, не переставала наблюдать меня своими большими зрачками из-под густых и длинных темных ресниц. Последствия убедили меня, что я не ошибался; когда я по окончании обедни подошел к Любе, которой Павлин подавал в это время ее верхнее платье, напряженность ее достигла крайней степени: она мне едва кивнула головкой и, спешно одеваясь, все совала руку мимо рукава, меж тем как на опущенных книзу ресницах ее потупленных глаз сверкала большая полная слеза – слеза не

умиленная и добрая, а раздражительная и досадливая. Люба, несомненно, страдала от того, что я видел ее с *лакеем*, но не в том положении, в каком лакей мог бы быть приятен для человеческой суетности. Павлин не показывал ни малейшего вида, что он это замечает, но я был уверен, что он все это видел и понимал; однако же он, по-видимому, не смущался, но делал свое дело, как всегда, точно и аккуратно, то есть в данном случае он одел Любу и оправил все на нее надетое не более как со вниманием служителя; а Любе, казалось, и это не нравилось: она, что называется, *пижонилась*— сторонилась от него, как голубенок от соседящегося к нему грача.

Во мне шевельнулись старые воспоминания: припомнилось уважение, которое моя добрая тетка выражала к этому суровому блюстителю всякого принятого на себя долга, — и мне стало досадно на Любу: я одновременно подал правую руку ей, а левую Павлину и, как умел, ласково сказал ему:

— Я очень рад, что вижу вас, Павлин Петрович, — простите, что подаю вам левую руку, но она ближе правой к сердцу.

Он сжал мою руку крепко-крепко, и мне показалось, что на глазах у него даже блеснула слеза, но не такая, как у Любы. Это не скрылось от Любиной наблюдательности, и потупленные глаза ее поднялись: она точно обрадовалась, что между всеми нами тремя как будто восстановилось равенство, и просияла. Павлин опять был тот же по внешности, но было что-то такое, что и в нем сказалось тихо сдержанным удовольствием.

– Любовь Андревна-то-с, – заговорил он ко мне, выходя из церкви, – как переменялись... выросли – совсем особенные стали против прежнего вида.

– Да, выросла и... – я хотел сказать, что она похорошела, но нашел, что не следует ей этого говорить, и добавил, что я едва узнал ее.

– Как же, – отвечал Павлин, – помните... ведь они тогда остались... совсем ребенком... А теперь им нынче уже пятнадцать лет.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня сиротства Любы идет десятый год. Тем это и кончилось; но в следующее воскресенье я опять свиделся с Любой и Павлином в той же церкви, и встречи эти пошли все чаще и чаще, пока, наконец, я однажды увидал Павлина в церкви без Любы и осведомился: что это значит?

– Они... Любочка, нездоровы-с, – отвечал швейцар, называвший Любу в ее присутствии не иначе, как Любовь Андревна.

Я спросил: что с нею такое случилось?

Павлин задумался и развел руками, а потом неохотно промолвил:

– Должно быть, что-нибудь от воображения.

– Разве, – говорю, – Любочка очень мнительна?

– Нет-с, если вы полагаете мнительность насчет болезни, то нет-с; на этот счет они не мнительны, а даже напротив... не занимают собой; а... так... в характере у нее сохраня-

ется что-то... этакое...

Мы на этом расстались и после долго не виделись, но вдруг совсем неожиданно в один осенний вечер ко мне приходит Павлин и с тревожным выражением сообщает, что Люба заболела.

– Пришла, – говорит, – в прошлую субботу ко мне вечером на одну минуту и вдруг разнемоглась и всех перепугала. Анна Львовна своего доктора присылали; и даже сами приходили и молодой барин... но теперь ей лучше: спала немножко и, проснувшись, говорит: «Как бы мне хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать». Сделайте милость, пожалуйста к ней посидеть. Она про вас вспомнила – и я замечаю, что ей хотелось бы про детство свое поговорить, так как вы ее мать видели. Вы этим ей, больной, большое удовольствие можете принести.

Я встал и пошел.

– Только, знаете, если она будет много спрашивать вы ей не всё говорите, – шепнул Павлин, вводя меня в заповедную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я теперь видел в первый раз, была очень маленькая, но преопрятная и уютная; она мне с первого же взгляда напомнила хорошенькую коробочку, в которой лежит хорошенькая саксонская куколка: куколка эта и была пятнадцатилетняя Люба.

VIII

Павлин оставил нас здесь с Любою вдвоем, а сам пошел хлопотать о чае. Люба сидела в кресле, с ногами, положенными на скамеечку и укутанными стареньким, но очень чистым пледом. Я приветствовал ее выражением удовольствия, что она поправляется, и сел напротив ее через столик.

Она мне ничего не ответила, но вздохнула и сделала гримаску, которую я принял за выражение какого-нибудь болезненного ощущения, но это была ошибка: Люба хотела показать свою гримасою, что она недовольна и безутешна.

– Я вовсе не рада, что я выздоравливаю, – проговорила она мне наконец, надув свою губку.

– Не рады! Что же, вам нравится болеть? – отвечал я, стараясь настроить разговор на шуточный тон; но Люба еще больше насупилась и молвила:

– Нет, не болеть, а у...

– «У...»? – отвечал я с попыткой обратить дело в шутку. –

Вам еще рано «у...»

– Я очень несчастна, – прошептала больная, и слезы ручьями полились по обеим ее щекам.

Я старался ее успокоить общими утешениями вроде того, что вся ее жизнь еще впереди и пройдет тяжелая полоса, наступит и лучшая, но она махнула мне ручкою и нетерпеливо сказала:

– Никогда мне ничего лучшего не будет.

– Почему?

– Так... мне это на роду написано.

Я посмотрел на нее и не нашелся, что ей отвечать: в ее словах звучало не минутное болезненное настроение, а в самом деле что-то роковое, и во всем существе ее лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ее личико напоминало мне лица ее бабушки и матери. Разговор наш прервался и не шел далее. Люба не выпрашивала меня о своем прошлом, как ожидал Павлин, а молчала и сердилась. На что? Очевидно, на свое положение. Кого же она в нем винила? Устроившее так провидение?.. Нет; у нее, кажется, был на уме другой виноватый – и этот виноватый, как мне показалось, был едва ли не Павлин. Подозрительность подсказывала мне, что, вероятно, между ними незадолго перед этим произошла какая-нибудь сценка, от которой Павлин растерялся и, не желая беспокоить Любу своим присутствием, а в то же время жалея оставить ее одну, позвал меня к ней сам, без всякого ее желания. Та же, может быть, не совсем основательная подозрительность подсказывала мне, что Павлин нажил себе в Любе напасть. Люба казалась мне девочкою не в меру чувствительною, претензионною и суетною, а я уже и тогда знал, что с такими существами серьезному человеку нелегко ладить. Мне сдавалось, что всё страдание Любы, главным образом, происходит от того, что она живет в швейцарской, а не в бельэтаже, и что она обязана благодарностью

лакею, а не его госпоже... И вот, придя с тем, чтобы сожалеть Любу, я невольно начал жалеть Павлина. Он, казалось, уже пасовал перед нею и теперь чувствовал, что он прирожденный лакей, а она, всем ему обязанная, все-таки прирожденная барышня, в которой сила привычки заставляет его признавать существо, чем-то его превышающее. Люба тоже, несомненно, замечала это преобладание над своим воспитателем, но у нее не было великодушия, чтобы быть скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она всего охотнее рассказывала лишь о том, что у нее сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ее старший сын Вольдемар, тогда только что произведенный в корнеты одного из щегольских гвардейских кавалерийских полков. Надутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распространялась об их посещении и о том, что они «говорили с нею по-французски, потому что не хотели, чтобы Павлин понимал их разговора», и при этом Люба со вниманием рассматривала и нюхала оставленный ей старую генеральшею флакон с ароматическим уксусом. После этого разговора я был окончательно убежден, что, чтобы вылечить Любу, надо бы ее только, как кошечку, перекинуть с места на место, то есть перенести из швейцарской в бельэтаж – и последствия не вдалеке же показали мне, что я не ошибся.

Выздоровев и побывав в бельэтаже у генеральши, молоденькая Люба нашла отраду в том, чтобы хотя несколько часов в день не удаляться оттуда. В мастерскую, куда она была

отдана Павлином, теперь ей было так тяжело идти, что при одной мысли об этом она снова разнемогалась. Павлин не знал, что ему с нею делать: он все только жаловался, говоря:

– Вот, вот люди!.. Гм... подруги... наговорили ей, знаете, про то, что она... благородная! Теперь не хочет! А что такое это благородство? – Пустяки.

Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти в мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была бес- сильна. Взять же ее к себе и держать в своей каморочке он тоже находил неудобным и непристойным, так как каморка была тесна, а Люба была уже почти совсем взрослая девушка. Одним словом, дело гнуло совсем не туда, куда направ- лял его Павлин, – и что же вы думаете: как он нашелся ула- дить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Пав- лин через год женился на этой шестнадцатилетней Любе, на этой пустой и напыщенной девочке, которая его презирала со всею жестокостию безнатурности, – и вы были бы неспра- ведливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Пав- лии Любу к этому прямо или косвенно чем-нибудь принево- ливал. Нимало нет; молодая девушка сама этого захотела. А как ей это пришло в голову – про это я вам сейчас расскажу.

IX

Как иногда люди женятся и выходят замуж? Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо бóльшим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так было и у Павлина с Любою.

Люба хотела только не идти в магазин, где какая-то девочка сказала ей грубость, и в этих целях «пижонилась» и, ластясь под крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди так необразованны и грубы, что не умеют ценить преимуществ ее происхождения, а, напротив, как бы мстят ей за него.

– Да и наверное они мстят тебе, – отвечала, глядя на Любу, Анна Львовна.

Они обе в это время сидели и работали у матового карсея в уютном кабинете.

– И чему этот Павлин хочет тебя еще учить? Не понимаю я этого! – продолжала Анна Львовна, взглянув на Любину работу, – по-моему, ты и теперь уже превосходная мастерица.

– *Он* хочет мне открыть магазин...

– Он... Позволь мне тебе сказать, что этот твой он – ужасный, пестрый, гороховый шут. Зачем он будет тебе открывать магазин?

– А что же ему со мной делать?

– Что делать?... Очень просто; я не понимаю: зачем он на тебе не женится?

Девушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужестве, но во всяком случае оно представлялось ей желанным вовсе не с Павлином. Генеральша видела, что высказанная ею мысль не приходила в голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, не пугает и, по-видимому, довольно хорошо укладывается в ее голове.

– Конечно, так, – продолжала генеральша. – Ты думаешь, это легко быть модисткой, лгать всякой роже: «Это хорошо! Это вам идет!» да потрафлять на всякий каприз и становится перед каждою на колени да мерку снимать?... А между тем, выйди ты замуж... это гораздо лучше. Особенно если за него, за Павлина; тогда бы мы с тобой никогда не расставались: ты бы у нас при гостях разливала чай и кофе, я бы тебе что-нибудь платила, на гардероб; а по вечерам мы бы с тобою сидели и вместе работали, ожидали бы, пока Володя приедет и расскажет нам, где что делается. Володя очень любит с тобою говорить, я ты всегда будешь как своя в нашем доме.

Люба, краснея, молчала, и на ресницах у нее стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

– А то ты подумай, что же, если ты, открывши магазин,

когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого человека, да за необразованного какого-нибудь, положим, хоть ремесленника или даже чиновника – ничего ведь из этого лучше не будет. Так в том кружке и погрязнешь. А за кого-нибудь другого, повыше, тебе выйти мудрено, потому что ты не так поставлена.

– Я это знаю, – произнесла, глотая слезы, Люба.

– Вот и прекрасно, что ты такая умница! А Павлин, как ты хочешь, он хоть и немолод, но человек редких правил, он тебя ни в чем не стеснит: я его более двадцати лет знаю, и всегда он честен, всегда умен, всегда в порядке и при том всем, хотя я не верю, что люди болтают, будто бы он нажил себе у меня порядочные деньги, но он человек очень бережливый, и какие-нибудь деньжонки у него непременно есть в запасе. Вот пусть он на тебя этот запасец-то и порастрясет. Да, мой друг, да! И ты этого стоишь. И оно, конечно, так все и будет, потому что же ему может быть приятнее, как не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Поверь-ка мне, что люди его лет гораздо надежнее, чем всякие вертопрахи вроде этого художника, который ходит снимать с меня портрет и все на тебя заглядывается.

Люба спламенела: она еще в первый раз слышала, что на нее заглядываются мужчины – и притом слышала это от такой солидной женщины, как генеральша, к которой молодая девочка стремилась, как травка к солнцу. Ей было приятно, что Анна Львовна ее так бережет, и Люба разнервничалась

и, сбросив с колен работу, кинулась к ней на грудь и заплакала, лепеча:

– Заступитесь за меня, я вас во всем буду слушаться.

Анна Львовна отвечала ласками на ее ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать и, наконец, заключила:

– Я только одного боюсь: может быть, Павлин в самом деле тебе кажется немножко стар?

Люба молчала.

– Может быть, тебе непременно хочется молоденького мужа?

– Ах, я ничего об этом не говорю, – перебила Люба.

– Ну и прекрасно, если ты этого не говоришь, так и дай бог добрый час.

Девочка испугалась, что все было так скоро кончено, и, краснея, поспешила сказать, что она ни за кого не пойдет замуж; но Анна Львовна пропела ей стишок из «Красного сарафана», что «не век-де пташечкой в поле распевать и златокрылой бабочкой порхать», и, рассмеявшись, приподняла рукою ее личико и спросила:

– Не хочешь ли ты в монастырь?

– Мне все равно, – отвечала шепотом Люба.

– О-о-о, лжешь; не те у тебя глазенки, чтобы идти в монастырь. Нет, ты там всех будешь смущать: мужчины, вместо того чтобы богу молиться, будут на тебя смотреть.

Девушка рассмеялась.

– А ты вот что... шутки в сторону, ты подумай, на что те-

бе решиться: я тебе об этом давно хотела сказать и теперь так серьезно говорю, потому что вижу, что ты нас очень любила...

– Я вас очень, очень люблю! – подтвердила Люба, покрывая поцелуями генеральшины руки.

– Да, и я понимаю, что, побыв с нами, ты в мастерскую к этим своим швеям решительно не можешь идти...

– Решительно не могу! Я скорее утоплюсь.

– Я все это понимаю; решительно все понимаю, но не знаю, зачем топиться: это грех. Павлину не делает чести, что он такой умный человек, а посылает тебя туда, где ты слушаешься всех этих нехристианских мыслей: я уже ему про это говорила...

– Вы ему говорили *про это*?

– Да; я ему говорила, и он тоже это понимает и согласен со мною, но ты посуди: куда же ему тебя деть? В самом деле, ведь с тобою очень трудно что-нибудь придумать: ты так воспитана, что гувернанткой ты не можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при детях ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а ведь в швеи или в горничные тебя определить – это ему будет очень тяжело... Он о тебе все-таки заботился... Не правда ли?

Девушка уронила тихое: «Да».

– Ну, вот видишь, – продолжала генеральша, – я бы, положим, сама взяла тебя к себе жить...

Люба кинулась перед нею на колени и воскликнула:

– Ах, возьмите! возьмите! Бога ради возьмите!

– Но какая же будет у меня твоя роль?

– Это все равно; только бы у вас...

– Да и Павлин этого не захочет, он непременно найдет, что это нехорошо, и не захочет; к тому же у меня взрослый сын, мужчина. Положим, что он у меня добрый молодой человек и очень тебя любит, но все-таки ты теперь уже совершеннолетняя девушка, и это не идет. А раз что ты выйдешь за Павлина замуж... тогда все это прекрасно улаживается.

Девушка молчала, а Анна Львовна продолжала:

– Мой совет вот: послушайся меня и выходи за Павлина замуж, и ты будешь жить препокойно; а время свое ты будешь проводить у нас: я стара, и мне все простят эту слабость, что я тебя к себе приблизила.

Люба опять молчала.

– Ну, что же, надо говорить, а не молчать: быть так или нет?

Девушка опять припала к мягкой пухлой руке своей покровительницы и прошептала:

– Вы лучше знаете, что мне нужно: я на все согласна.

Так экспромтом подготовилось это несчастье для Павлина с Любою, в которую Павлин действительно был жестоко влюблен, но только не смел о ней думать. Когда же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла перед ним двери рая, у него закружилась голова, он позабыл все доводы рассудка, заставлявшего его не мечтать о Любе.

Я как сейчас помню визит, которым он почтил меня, приглашая к Любе шафером. Павлин был неузнаваем: он просидел у меня с час и все делал в это время себе разные комплименты, чего с ним прежде никогда не бывало. Мысль, что его любит молодая девушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала язык, что он сделался несносно болтлив и даже хвастлив, но, конечно, совершенно по-своему. Он и в этом порыве говорливости все стоял на почве долга.

– Я человек простой, – говорил он, – но я человек довольно начитанный, и я, извольте видеть, раньше времени себя не погубил. Я давно разве не мог бы жениться-с? Очень бы мог-с, и многие женщины мне к этому виды подавали, но я имел такой долг, чтобы этого не сделать. Проще сказать: я для родных этого не сделал. Глупые люди говорили, что родные мои будут мне неблагодарными родственниками, а я останусь на старость лет один. Что же, я никогда на это не уважал: я ведь родным помогал не из благодарности, а долг свой исполнял; я и Любовь Андревну воспитал совсем не из благодарности и не из каких-нибудь видов, а вышло вот, что счастье себе и подругу в них получил. Надо всегда делать все как должно, а уже оно само непременно все выйдет как следует, на настоящую пользу.

Этот обобщающий вывод меня чрезвычайно заинтересовал, и я с величайшим вниманием слушал, как Павлин все подводил под это правило: выходило, что он и окна у жильцов выставлял для блага человечества, в тех видах, что *она*,

то есть Анна Львовна, жалости не знает и надо, чтобы на свете никто на жалостливых не рассчитывал, потому что их немного, да и в тех можно ошибиться, и «тогда хуже выйдет». А строгость лучше: при ней всяк о себе больше заботится и, злых людей опасаясь, лучшее себе во всем получает».

И за сим, менее чем через две недели после этого разговора, Павлин сделался мужем своей питомки Любы, а вскоре и очень большим страдальцем по ее милости и по милости других, не пощадивших ни его заслуг, ни его седин и достоинств его замечательного, твердого и честного характера.

Х

Я не знаю, достаточно ли я обрисовал в начале своего рассказа генеральшу Анну Львовну? Вероятно, нет, и потому теперь еще раз обращусь к этому и вкратце скажу, что это была женщина не только сухая, своекорыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и расчетливейшая эгоистка в мире, способная не остановиться ни перед чем, ради самых ничтожных своих выгод. Она всегда была готова с невозмутимейшим спокойствием приносить в жертву для само-мельчайших своих расчетов и счастье и самую жизнь своего ближнего. То самое делала она и теперь, соединив пожилого Павлина узами брака с юною Любой. Анна Львовна знала, что Люба не может любить Павлина, и не ошибалась: ни лежавшая между супругами огромная разница лет, ни строгость Павлинова характера, ни его внешняя суровость – ничто не позволяло надеяться, что Люба рано или поздно привыкнет к своему мужу и станет питать к нему что-нибудь, кроме страха и отвращения – не столько как к старику, сколько как к лакею... Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для всяких увлечений, но все-таки она была женщина и знала, что в таком супружестве, какое она устроила для Павлина и Любы, у последней непременно будет много горьких минут если не бешеной, то тихой, но ядовитой тоски; а от тоски разовьется мечтательность, мечтательность

воспитывает беспокойное воображение, а беспокойное воображение чего не нарисует и чего не подстроит? Анна Львовна знала, что в молодой голове с беспокойным воображением непременно скоро пойдут сравнения, – и как вообще никакая жизнь не может выдержать сравнений с пылкой мечтой, то мечта одолеет и... Люба увлечется и очутится в руках Анны Львовны. Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказав вам, будто генеральше понадобилось, чтобы Люба попала в *ее руки*. Нет, ей действительно так было нужно. Чтобы скорее вести мою историю к концу, скажу вам прямо, что Анна Львовна, соединив Павлина с Любою, затеяла на их счет пружестокую игру, мысль и план которой внушили ей самые возвышенные чувства, именно *материнские*.

Володичка, служа в щегольском полку, стоил Анне Львовне дорого и вел себя рискованно. Анне Львовне хотелось его немножечко присадить дома, а как его присодишь, когда его тянет надесно и налево. Женить его было рано; вниманием светских женщин он хотя и хвастался, но на самом деле ни в чем подобном никогда никакого успеха не имел; иностранные дамы из «морских» и в те времена обходились так дорого их адораторам, что генеральша трепетала всякого слуха о сближении Володички с этими кровопийцами, – а между тем Володичка доказывал, что он, как русский барчук известного тона, непременно должен жить как все «порядочные люди»; а для того чтобы жить так, – он, конечно, хотел обнаруживать покровительственные права на какую-нибудь

женщину, которая была бы не хуже других за веселым столом у любого из «морских» рестораторов. Генеральша и сама понимала, что это настоящему светскому кавалеристу необходимо, и против этого не спорила; но это и тогда, как и теперь, стоило чертовски дорого, и вот... добрая мать, после долгих ночных дум и соображений, набрела на мысль, что у нее против всего этого есть под рукою универсальнейшее средство, и это средство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна, – и если ее немножечко *поразить*, то она очень и очень может отслужить Доде службу за выездную даму; а что Додя влюбит ее в себя – в том может ли быть сомнение?

Он, на взгляд матери, был хорош собою – и хотя она считала его «дураком на службе», но у него такой красивый мундир, он умеет подбирать себе аккомпанемент и поет романсы вроде кружившего тогда женские головы песнопения об «удалом постояльце»:

– Как хорош, не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый!
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты.
Боже мой! боже мой!
Ах, когда бы он был мой!

Анна Львовна знала, что того скудного обаяния, каким владел ее «дурак на службе», было много, слишком много для легкомысленной женщины, имеющей семнадцать лет от

роду и мужа старика, которого она стыдится... Игра казалась беспроигрышной, и началась подтасовка и сдача на руки карт.

Прежде всего, чтобы повысить социальное положение Любы, обратились к шутке: ее все в доме звали «швейцаркой Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало ее лакейский марьяж. Все молодые люди, вертевшиеся в доме Анны Львовны, видели в Любе не молоденькую жену надутого швейцара Павлина, а что-то совсем особенное, стоящее совсем ни от кого независимо и... и привлекательно.

За Любой началось волокитство, умеренное и сначала благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое. Ухаживали за нею без исключения все товарищи Доди. Любе не нравился из них никто; она довольна была всеми, кого видела в доме Анны Львовны, но, как говорили встарь поэты, сердце ее еще никого не избрало, и Павлин был счастлив. Счастлив чем? Разве Люба так любила и счастливила его? Нет; Люба была все та же: она от него только тщательно сторонилась и проводила все свое время у Анны Львовны за работою или разливанием кофе и чая, но Павлин безмерно любил ее и не желал ничего, кроме ее счастья. Для ее счастья было нужно не быть с ним – он и это принимал с удовольствием. Уязвленный страстью, Павлин совсем, что называется, ослеп и осуетился: его прирожденный демократизм стаял, как снег, и он сам хотя и не стыдился своей пестрой либрей, но, видимо, желал, чтобы Люба забирала крылом по-

выше. Люба, знакомая с французским языком с детства и подучившаяся ему еще более в школе, а потом окончательно напрактиковавшаяся у Анны Львовны, радовала своего мужа тем, что она могла держать себя совсем как барышня, совсем как иностранка, — словом, швейцарка по всем статьям. В Павлине, который всего этого как бы сам желал, в то же время развивалась особенная, весьма странная робость, которую он чувствовал перед капризами Любы. Бедный старик, кажется, беспрестанно стеснялся тем, что она родовая барышня, а он лакей. Ему, вероятно, никогда и в голову не приходило, что он будет ее так любить и так ее стесняться, как это вышло. Он против этого нимало не восставал и не возмущался: напротив, ему даже нравилось служить Любе и во всем поблажать ей. Он рядил ее как куколку, рядил именно так, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку. Это порядком опустошало мешок его заветных, но относительно, конечно, весьма незначительных сбережений; но он все это терпел безропотно и усугублял экономию на себя и на все те статьи, где мог заменить расходы личным трудом. Так, с женьбойю своею он хотя не ослабел в исполнении своих служебных обязанностей, но у него уже не оставалось так много времени для чтения романов, потому что чуть Люба, вставши и раздевшись утром, отправлялась наверх к Анне Львовне, Павлин убирал свою комнату, пересматривал женин гардероб и, наконец, брался приводить его в порядок. Люба наверху шила для Анны Львовны раз-

ные *broderie anglaise*,¹ а Павлин, запершись на ключ в своей чистенькой каморочке, чистил женины сапожки, пришивал подпоровшуюся прюнель, закреплял пуговики и крючочки и грел в маленькой круглой печке плойльные щипцы и утюги, а когда они раскалялись – вытаскивал из-за шкафа гладильную доску, покрывал ее чистым закатником и начинал гладить и плоить ее рукавчики, юбки и манишки. Взявшись за эти занятия в видах экономии, Павлин скоро достиг в глаженье и плойке надлежащего совершенства, но сбережения от всего этого были ничтожны в сравнении с огромными расходами, каких требовало франтовство Любы и страсть Павлина утешать ее хорошими нарядами, о которых Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старик сам хотел ее забавлять и тешить.

При таком баловстве и холе Любе нетрудно было для всех посетителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной «швейцарки» – иностранки, которою заниматься в качестве хорошенькой, пикантной женщины отнюдь не предосудительно: с нею говорили, смеялись, шутили и вообще обращались как с ровнею. Некто из приятелей сына генеральши, имевший небольшой талант грациозно рисовать карандашом женские головки, беспрестанно набрасывал во всех альбомах легкую белокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себе у автора эти приятные абрисы. Эскизы

¹ Английское шитье (*франц.*).

эти, расходясь по рукам *jeunes dorés*,² сообщали Любе довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и во все о том не заботясь, сделалась в некотором роде магнитом для очень многих молодых людей, желавших видеть оригинал художественного списка. Таким образом, у Любы являлось все больше и больше поклонников: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видела и допускала. Что же касается до Павлина, то он обнаруживал в отношениях к своей молоденькой жене такую толерантность, какой не встретите у очень многих крикунов о независимости чувств и равноправии полов в рассуждении свободы. Павлин, впрочем, предавался в это время некоторой суетности: он *молодился* и с этой целью достал где-то редкую, по его словам, книгу, из которой вычитывал замечательные вещи. Так, например, он однажды рассказывал мне, что «совсем утвердился в своих правилах насчет обязанности человека, который, если будет жить по нравоучению долга, то проживет на свете по меньшей мере сто лет». Свой век в пятьдесят лет Павлин рассматривал на основании той книги только как *совершеннолетие* и по той же книге уверял, что «умирают ранее ста лет одни глупцы, а болеют негодяи, которые практики жизни не понимают». Что же касается до него, то он, всеконечно, был глубоко убежден, что им эта «практика» вполне усвоена.

– Я, – говорил он, – никогда болен не был и не знаю, зачем

² Золотой молодежи (*франц.*).

болеть: живи как следует; не пей вина, ни кофею, не копти грудь табаком – и не заболеешь; спи без подушки в правильную линию – и не будешь гнуться; а ешь солонее и пей кислее, так и умрешь – не сгниешь.

Из этих сказов Павлина я познал тайны его обыденной гигиены и подумывал: вряд ли все это может нравиться молоденькой и свеженькой Любе?

Он нимало не претендовал, что Люба почти не жила в его швейцарском затворе, в котором с женитьбою Павлина появились новые занавесы, цветы и канарейки. Он даже не ревновал, когда выходящие от Анны Львовны молодые люди, принимая из его рук свои шинели, расточали неосторожно не совсем скромные похвалы красоте «швейцарки». Павлин при этих хвалениях только молчал и улыбался в свои густые светло-русые усы.

Благодарный и рассудительный, но всегда строгий к себе и честный Павлин, не будучи способен ни к какому коварству и предательству, не подозревал его в других и потому, имея ум свой чистым и светлым, являлся совершенно слепым. Глядя на него, можно было проверить всю истинность слов Бэкона Веруламского о людях, которые, вследствие преобладания философского настроения, делаются совами, видящими только во мраке своих умозаключений и слепотствующими при свете действия, а особенно лишенными способности видеть то, что всего яснее и очевиднее. Как «сынове мира сего мудрее сынов света в роде своем» и как

Павлин в своем роде был сын света и слуга долга, то сынове мира его перемудрили и обокрали...

Люба была окончательно отвращена от мужа и затем, конечно, сбита с толку и обманута сама. Как это произошло – я не стану вам рассказывать, потому что сам при том не был и ни от кого этих подробностей не слыхал, да и, наконец, не все ли это равно нам, как это сделалось. Довольно того, что имеющий стадо овец таки взял и отнял последнюю у имевшего одну овцу.

XI

Вам, я думаю, едва ли нужно говорить, кто был виновником увлечения Любы? Нетрудно отгадать, что она, при всеобщем за нею волокитстве, должна была сделаться львиною долею Доди, которому особенно благоприятствовали на этот счет все домашние обстоятельства. Люба проводила с ним дни и ночи под одним кровом и... не столько увлеклась им, как спасовала и сдалась перед его настойчивостью. Она видела, что он готов мстить ей, нарушая дорогое ей расположение Анны Львовны; видела, что когда он супится и дуется на нее, это огорчает ее благодетельницу, и та плачет и страдает... Люба не нашлась как поступить иначе и отерла ее слезы. – Додя был малый пустой, он мотал деньги, когда они были, а когда их не было, добывал их под тройные векселя, и при всем том не имел дамы, которая бы слыла его фавориткою за ужинами. Люба ему представилась удобною для этой роли, и он ее к тому предназначил и довел. На этот выход ее снарядил и одел сам Павлин своими собственными руками (он мне впоследствии рассказывал об этом в одну прискорбнейшую минуту своей жизни).

Это был такой случай: на дворе стояла зима; в городе шли балы и маскарады, и Анна Львовна, желая доставить бедной Любе маленькое удовольствие, снарядила ее на один из костюмированных балов в дворянском зале. Об этом выезде

Павлину было сказано чуть ли не за месяц, а в течение этого месяца в доме шли хлопоты о Любином костюме. В этих хлопотах принимали участие все, начиная от самой Анны Львовны до Павлина, который, сверх обыкновения, был постоянно отрываем от должности и бегал с записками то в один, то в другой магазин за мелочами, требовавшимися к волшебному костюму Любы. Самым же выполнением костюма, требовавшим особых художественных соображений, заведовал в качестве главного художника друг и товарищ Додди, рисовавший такие удачные карандашные портреты Любы. Все это, разумеется, сближало молодых людей до самой дружественной короткости и совсем затушевывало в головке Любы старого мужа-лакея. Наконец костюм был готов и вышел как нельзя более удачен. Павлин увидал жену, сходившую по лестнице сверху в сопровождении родственницы Анны Львовны и оберегавших Любу кавалеров, в числе коих были главный художник и Додди.

Люба была одета *Зарею*: на ней был легкий эфирный хитон из расцвеченной красками в тень дымки. Низ этого широкого, густыми складками платья был темен как ночь, но чем выше, тем темнота редела, облегчалась и переходила мягкими полутонами в другие, более легкие и яркие цвета, и с пояса вверх становилась уже такою воздушной и легкой, что фигура Любы словно утомилась и таяла, как облако, и посреди-то этого таяния светлая головка Любы сияла, венчанная лилией и красною розой; а за плечами у нее сквози-

ли переливами света испещренные тысячью цветов восковые крылышки, в руках же у нее был золотой светоч, обвитый голубыми незабудками и махровым маком. Сон и пробуждения, темная дрема страстей и яркий разгар их – все знаменовалось в Любе приличными приспособлениями, и Павлин такую усадил ее в карету, а через четыре часа вынул ее из этой же кареты совсем другую: восковые крылья ее растаяли и изорвались, платье было изорвано, светоч растрепан и опален...

Люба, встретив мужа, не сказала ему ни слова; не хотела прикоснуться к приготовленной им для нее жареной курице и пастиле, а, сорвав с себя платье, бросилась в постель, обернулась к стене и, не двигаясь, пролежала в таком положении остаток ночи и весь следующий день. Павлин берег ее долгий сон, но берег его напрасно: Люба не спала, а она сначала долго плакала и потом лежала с красным, воспаленным лицом и сухими открытыми глазами, устремленными в одну точку.

Всякий мало-мальски наблюдательный человек, взглянув на эту женщину, не усомнился бы сказать, что у нее через руки прошла большая игра, и это было верно. Люба сама хотела открыть что-то на этот счет Павлину, но передумала и, дождавшись вечера, оделась и пошла жаловаться на Додю Анне Львовне. Однако жалоба так дурно сочинялась в ее голове, что она и это отменила и ограничилась тем, что пожаловалась на Додю ему самому и... заключила мир поцелуем.

Но любовь и обладание Любою было не все, чего требовалось Доде: мужчине таких свойств, как Додичка, в отношениях с женщиною главнее всего щеголять любовницею, показывать ее и хвастать ею перед другими, чем Додичка, разумеется, и не преминул воспользоваться. Санки, на которых спускалась добродетель Любы, раскатились быстро книзу. Раз начатые выезды и веселости под маскою стали повторяться. Когда Павлин, дремля поздно вечером в своих креслах, поджидал запаздывающих жильцов парадной лестницы или укладывался без подушки на жесткий коник за колоннами, он и не подозревал, что в это время его жена отнюдь не скучает с Анной Львовной, а носится в черном домино по ярко освещенным маскарадным залам под руки с золотою молодежью, а в те часы, когда он пробуждается и посылает жене вверх на генеральшину половину мысленный привет, нежная Люба, с головкою, отуманенною парами шампанского, спускается неверными шагами с лестниц французского ресторана, а потом мчится на погромыхивающей бубенчиками тройке, жадно глотая распаленными устами свежий воздух и весело напевая шансонетки своему спутнику, прижимающему ее к своей груди под теплою шинелью.

Долгонько-с все это шло шито да крыто. Петербург не провинция, здесь попадаете только тот, кому самому придет охота попасться. Одни сквозные ворота, которые пользовались таким благоуважением гоголевского Осипа, составляют, как известно, такой эффект в петербургской жизни,

что с ними не пропадешь, и Люба дознала это опытом. Скоро оставив всякую застенчивость и позабыв внутренне мучиться тем, что она бесчестит седины мужа, она еще скорее перестала беспокоиться о том, как скрывать от него свое поведение. Обстоятельства так хорошо сложились, что, казалось, обманщице никогда нечего было опасаться. Старая генеральша так рано уходила в свою комнату и так плотно запирала за собою двери из маленькой моленной, где спала на обитом мягким ковром оттомане Люба, что последней не стоило никакого труда встать, одеться в свои лучшие платья, которые по милости той же генеральши хранились в шкафах ее гардеробной. Анна Львовна или крепко спала, или была так занята своими счетами, что никогда не слыхала этих сборов. Более: она была так простодушна, что даже никогда невзначай им не помешала ни уходить, ни приходить. Люба с Додичкой спускались черною лестницею, проходили на улицу задними воротами, у которых их за углом ожидал отчаянный лихач или ухарская тройка – и след их стыл или заметался прахом. Дальше ночь-матка покрывала все гладко, а потом утром они возвращались тою же дорогою, один в свой кабинет, другая в образную, где могла, если хотела, поплакать перед слабо освещенными строгими, темными ликами фамильных икон. Но плакала ли перед ними Люба о своем низком падении? Верно, немножко поплакалось вначале, но зато очень много поплакала в конце своего яркого блистания в полусвете. Полусвет!.. этот мало пристойный, но крепко

затягивающий круг, был затрогиваем очень многими писателями в литературах всех образованных стран света, не обходящихся без своей стороны полусвета, но едва ли он имеет где-нибудь полное, комплектное описание, которое могло бы знакомить с физиологиею его роковой и чудовищно затягивающей жизни. У нас он вовсе никем не изображен ни в одной мало-мальски живой и яркой картине.

XII

В полусвете страсти кишат и пылают часто гораздо сильнее, чем в свете, и наша Швейцарка увлеклась своей новой жизнью и играла видную роль в своей среде. Сначала Додичка ее насилу *вывез* в круг «морского плавания», – она так дичилась и конфузилась, что едва решилась на это только после клятв Доди, что это нужно для его бесценной карьеры. Она любила этого мальчишку и понимала, что ему недостает для его *genotmée*³ женщины, которою он мог бы щеголять, как щеголяют подобными женщинами другие, и Люба выступила на путь состязаний в полусвете. А потом тут вскоре замешалось самолюбие: Люба увидала, что Додя трусит и сомневается, может ли он предстать с нею, не опасаясь, что она будет хуже других, то есть покажется робче и неловче, заговорит не складнее, не остроумнее и преснее, чем известные в этом роде Irène, Jacqueline, Fadette и Lisette?⁴ Отнюдь не лишенная ума и проницательности, Люба заметила эту обидную неуверенность, в ней заговорила гордость суетной красавицы, и она во что бы то ни стало положила себе быть первою между теми последками, куда спускалась, и все, что она себе тогда в уязвлении своей гордости положила –

³ Репутации, славы (*франц.*).

⁴ Ирена, Жакелина, Фадетта и Лизетта (*франц.*).

то все так в совершенстве и исполнила. Додичке не приходилось краснеть за Любу: она сразу же вошла в свою роль и исполняла ее с таким апломбом, что самые кровные морские львицы французской породы должны были признать полный успех за madame Paulin. И была своя пора, свое время, что этим славным именем дышала вся атмосфера, окружающая известные кружки золотой молодежи. О madame Paulin говорили на «солнечной стороне», в театральных партерах, у буфетов ресторанов и на подъездах, где встречались знакомые амикошоны. Это сладостное имя, может быть, даже не раз долетало до ушей самого Павлина; но что ему было за дело до этого? он не знал, что оно значит.

Между тем успех Любы усиливался, темная слава ее росла; она уже не только заняла весьма видное место, но даже господствовала и царила в полусвете: проводить вечер с madame Paulin – это было высочайшее *comme il ne faut pas*,⁵ прокатить ее на своей тройке – это было счастье, ужинать с нею *en deux*⁶ – это такое блаженство, за которое многие не постояли бы за крупные суммы, но Люба была клад не купленный: она любила Додю и тем окончательно сбила его с толку. Он возмечтал о себе так высоко, что не умел сочинить себе цены, и возмнил, что для любой женщины нет человека его драгоценнее. Этим воспользовалась дышавшая на Любу зависть и злоба соперниц по полусвету: зазнавшегося Додич-

⁵ Здесь – пренебрежение правилами хорошего тона (*франц.*).

⁶ Вдвоем (*франц.*)

ку коварно приласкали и усыпили в коварных объятиях, и потом все это вывели наружу. Люба была уязвлена в самое сердце и стала мстить равнодушием. А между тем, пока она вела эту игру, Додичку трясли за карман, и трясли так немилосердно и ловко, что он не успел оглянуться, как погряз в самых запутанных долгах. Тут началась история обыкновенная, кончившаяся, однако же, не совсем обыкновенно. По мере того как средства Додички истощались, соперницы Любы охладевали к ее изменнику и, наконец, насытившись местию и не видя в Доде более ничего лестного, покинули его на жертву скорби и унижения. Между тем в это время с глаз Павлина начала опускаться завеса: Люба, обнаруживавшая так много способностей скрывать свою любовь, решительно оказалась бессильною так же скрытно переносить свое страдание: она, во-первых, сбежала из апартаментов своей благодетельницы и плотно поселилась у мужа. Этим шагом Люба, разумеется, не хотела начинать шагов бесповоротных к доброму житию, а желала только не видеть некоторое время своего изменника: бедняжка надеялась дать ему эту порою почувствовать, что она к нему равнодушна и легко может обойтись без него... Потом, вероятно, ею опять ожидалось возвращение прошлых чувств и прошлых забав и наслаждений, а между тем по неискренности и неопытности Любы в этом деле музыка заиграла совсем не то, что бедная женщина написала на нотах. Павлин напряг ум и зрение, чтобы проникнуть, что за сокровенная, но злая скорбь мутит его жену? Доискиваясь

этой разгадки, он сначала было подумал: не обидела ли Любу Анна Львовна, но Люба успела уверить мужа, что Анна Львовна ничего ей не сделала обидного. Тогда подозрения Павлина пошли по другому пути и все прямее и ближе к цели. – Он мекнул: не обидел ли его жену monsieur Woldemar? и сердце его упало в груди и заныло. В этом расстройстве он вдруг лицом к лицу столкнулся с бледным и расстроенным Додичкой, который возвращался откуда-то домой, что называется, не имея на себе зрака человеческого.

Павлин, встретив молодого человека и приняв брошенную им шинель, покачал вслед ему укоризненно головою и только что обернулся, чтобы продолжать уборку антре, как почувствовал бесцеремонный и тяжеловесный удар по плечу: он оглянулся и увидел двух полицейских и одного плацмайора, которые, немножко стесняясь, немножко храбрясь, спросили Павлина: дома ли Анны Львовнин первенец. Получа утвердительный ответ, неожиданные гости пошли втроем по лестнице, а у дверей оставили двух солдат, квартального и бледного, встревоженного старичка с жидовским обличем. Павлин понял, что тут что-то дело неладно, и хотел как-нибудь предупредить Анну Львовну, но полицейский пристав тотчас же заметил это и арестовал его.

Павлин несколько удивился, но удивление это еще более усилилось, когда он услышал, что пристав вместе с тем распорядился, чтобы была арестована Люба, и тотчас же неожиданно начал делать обыск в его каморке.

Павлин было попытался сказать что-то в защиту своего жилища, но едва он вымолвил одно слово, как пристав ударил его по шляпе и крикнул:

– Что, у тебя шляпа к башке приросла, или ты боишься рога показать?

– Рога! – молвил растерянный Павлин.

– Да, рога, рога, – отвечал ему развязный офицер. – А ты, пестрый дурак, еще не знал до сих пор, что у тебя есть рога? Поклонись же за них своей миленькой жене и поцелуй у нее ручку, которая так ловко в чужие комоды ходит...

Павлин более ничего не слушал и не понимал: с него было много и того, что звучало в его ушах: «рога и комоды».

«Что сделала Люба? Что она могла сделать такого, за что бы ее обыскивали и, наконец... арестовали?»

Да, ее арестовали, и притом не одну, а вместе с Додичкой, только с тою разницею, что Додю повезли куда-то в карете, а ее квартальный увел в часть пешком с солдатом.

XIII

Павлин пришел в себя, когда ни Додички, ни жены его не было. Он тотчас же отправился в полицейскую часть, где получил объяснение, за что была арестована его жена, и ни с того ни с сего явился поздно вечером ко мне с просьбою позволить ему переночевать у меня, так как он *боялся* ночевать в доме Анны Львовны, ибо, «поняв все дело как следует, опасался, как бы не мог во гневе сделать чего не должно». Я, разумеется, ему в этом не отказал, и вот тут-то наступила довольно странная в моей жизни ночь, когда я в течение нескольких часов жил в недрах чужой души и сам ощущал то палящий жар ее любви и страдания, то смертный ледяющий холод ее ужасного отчаяния. Павлин находился в состоянии сильнейшего возбуждения, но какого возбуждения? какого-то странного и непонятного. Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого мною тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был *восхъщен* из самого себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное. Если помните, в Эрмитаже, недалеко от рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшного суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко каким-то средневековым художником. Там есть эмблематическая фигура, которая помещена в середине карти-

ны, так что ей одновременно виден вверх бог в его небесной славе, а вниз глубина преисподней с ее мрачным господином и отвратительнейшими чудищами, которые терзают там грешников. Всякий раз, когда я становлюсь перед этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, мне непременно невольно припоминается Павлин: так, мне казалось, схоже было его душевное состояние с положением этого эмблематического лица. Павлин, если так можно выразиться, страдал мучительно, но торжественно и благоговейно: он не пал духом, не плакался и не рыдал, но и не замкнулся в суровом и гордом молчании, в чем многие полагают силу характера. Напротив, он созерцал, откуда ниспал и куда еще глубже того мог погрузиться и низвесть с собою другое существо, – и он принял все над ним разразившееся, как вполне заслуженный им удар учительной лозы, и заговорил в самом неожиданном для меня тоне самоосуждения. Взойдя ко мне, он сел в моей зале без всякого моего приглашения и несколько минут провел в глубоком и тихом молчании, переводя глаза с предмета на предмет и потирая на коленях одну руку другою, а потом вдруг окинул меня тяжелым, как бы усталым взглядом и спросил:

– Слышали-с?

Я догадался, что он спрашивает о драматическом случае с его женою, и, чтобы не заставляя его попусту мучить себя повторением этого рассказа, отвечал ему утвердительно.

Он покачал в раздумье головою и тихо произнес: «Это

ужасно!», а вслед за тем, как бы спохватясь, добавил живее: «Вы извините меня, что я так... сел...»

– Сделайте милость, Павлин Петрович!

– Колени гнутся-с... Все на ногах был... столько часов...

Не мог успокоиться-с... пока ее не увидал... Все хотел утвердиться во всем.

– И что же: видели вы ее?

Он ничего не ответил, но склонил в знак согласия молча голову и через минуту начал таинственным шепотом:

– Благородная-с!.. Всю душу свою мне открыла... на груди моей плакала-с и прощения просила...

– Вы простили?

– То есть... в чем же-с? Она мне, открыв душу свою, в глубь меня зренья открыла, и я-с ужаснулся-с. Ее вина про себя, как легкий жаворонок, все пропела и под небом скрылась; а мой грех, как грач разботелый, понизу кричит и от земли не поднимется... Я сейчас ходил к духовному отцу, он меня утешал, говорит: «Ты закон сохранил, а она жена неверная». Позвольте!.. Это все смоковничье листье: ими я себя не закрою. Бог видит, где был я, когда к годам моим сопрягал ее юность? Я насильник: я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался... Вы полагаете, что я тот, какой был вчера и третьего дня? Нет-с; ныне в день скорби господь мне явил свою милость: я внял, что я прах, что я весь образован из брения и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем: страсть, гордость, нечистота, и сластолюбие, и

ревность, и... и... склонность к убийству... Ах! ах! ах!..

Он вскочил и, заметавшись по комнате, продолжал:

– Простите меня... Я... сам я теперь ничего прощения не стою, а ради Христа... во имя Христово... простите!.. Я все говорю и... молчать не могу... Дух внутри... меня теснит, как вино неоткрытое, и... бьет в совесть и язык подвигает к гортани... Прошу... если со мной что случится... чтоб знали, что я ее погубил, а *она*... она только чувства любви укротить не могла... Обвиню ль ее в том... ее... слабый, скудельный сосуд, когда сам на нее, на весь ее юный век тем же грехом поползнулся... Прав господь... меня наказуя: благословляю душу того и исполню все к счастью их.

– Что вы такое думаете?

– Я – я хочу сделать... чтобы я не мешал.

– То есть как же это?.. Умереть, что ли?

Он посмотрел на меня и вдруг неожиданно улыбнулся чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выражение, какого я никогда на нем не видал, и проговорил:

– Умру-с и жив буду. Надо спастись. Жену мою освободили-с: она ни в чем не виновата... Это *он* у одной... дамы драгоценности снес, а на Любу подозрение бросил... Да-с; но она его любит, и ей... тяжело... за него-с... Она дома теперь. Позвольте мне у вас немножко уснуть!

«Вино, верно, открылось, и дух его более не теснил». Он казался глубоко спокойным и, оставшись один в комнате,

тотчас же лег на диван и заснул. Утром я еще спал, когда Павлин встал и, умывшись на кухне, ушел. Мой человек, по любопытству своему проследив Павлина, видел, что он пошел в церковь.

XIV

Тогда время в некоторых отношениях было не похоже на нынешнее: теперь в военном быту, что ни шаг, то суд, а тогда была пора иных распорядков: в полках строго блюлась репутация мундира, и принимались особые меры к ограждению этой *мундирной чести*. Судили одних солдат, да и то не всегда, а когда видели в том особенную надобность; благородных же персон более или менее высокого происхождения, обличенных в негодяйничествах вроде плутовства и воровства, большею частию сплавляли на страну далече и там навсегда или надолго прятали их от общественного внимания. Этого-де требовала честь мундира, и этим она будто бы и удовлетворялась. Нынче об этом, кажется, думают иначе. Нынче мне доводилось слышать от современных воинов насмешки над этой *честью мундира*: они говорят, что «мундир может приносить честь или бесчестье только тому портному, который его шил». Оно, конечно, такое суждение весьма реально и может быть и основательно, но я об этом судить не берусь; в то же время, о котором я говорю, «оскорбившего мундир» старались поскорее размундирить и сослать с глаз долой.

Такая мера была приложена и к Додичке. Когда я, в то время еще довольно нетерпеливый, утром появился к огор-

ченной *mà tante*⁷ Анне Львовне, она уже была вставши и довольно грациозно сидела в глубоких креслах – и, изображая из себя невинную страдалицу, понемножечку плакала, обтирая платком глаза. Она была говорлива и даже красноречиво распространялась на тему о злонравном товариществе, которое будто бы подвело ее неосторожного Додю под незаслуженные им подозрения и погубило его при содействии отвратительнейшей женщины, молодой, но настолько развращенной, что она, забыв ласки ее, Анны Львовны, была в самой непозволительной близости *со всеми...*

Тут Анна Львовна, в подкрепление своей клеветы, несла всякий вздор, рисуя такие фантастические картины мнимой близости Любы «со всеми», что всякий поневоле убеждался, что все это вздор и клевета.

Однако Анна Львовна была благодарна богу и одному «священному», по ее словам, лицу за то, что если уже Додичке нет средств оправдаться, потому что он так хитро опутан коварством Любы, то по крайней мере его не отдадут на суд всяких приказных, где бы он должен был стать наравне с другими, а жалеют его и посылают в небольшой городок N, *недалеко* за Уралом.

Анна Львовна уверяла, что Додичке там будет прекрасно, потому что о нем туда напишут, а она с своей стороны даст ему крест с мощами и пошлет много книг; а там его после непременно скоро и простят, и все это только послужит ему

⁷ Тетушке (*франц.*)

в жизни полезным уроком.

Исполнение подобных кар следовало тогда немедленно же вслед за распоряжением, и Анна Львовна, говорившая утром этого дня, что Додичка уедет, вечером уже возвращалась в карете с заплаканными глазами из-за рогатки, за которую борзая тройка умчала в телеге Додичку в сопровождении двух жандармов, имевших в суме предписание отвезти милого шалуна гораздо подальше, чем рассказывала утром Анна Львовна.

Во весь этот день, приходя и уходя от Анны Львовны, я не видал ни Любы, ни Павлина, должность которого в этот суматошный день оставалась, без отправления, и мне не у кого было о нем даже осведомиться. Не получил я о нем никаких слухов и во весь другой день, а к вечеру пошел без церемонии о нем справиться. Я узнал следующее: комната Павлина еще со вчерашнего дня оказалась пустою; имущество его найдено все брошенным зря и как попало, точно после воровского визита; ни Павлина, ни жены его нигде не было, и никто о них не мог дать никакого ни слуху, ни духу.

В общей суматохе прошедшего дня никто не видал, возвращалась ли Люба домой из-под ареста и приходил ли ночью домой Павлин. Один я мог свидетельствовать, что Павлин говорил мне, будто он отвел жену домой и будто желает освободить ее от греха и соблюсти свою душу; но что могли значить все эти его слова? Теперь им приписывались разные иносказательные значения, в истолковании которых ка-

залось по временам что-то не совсем невероятное. «Отвел домой» – это, говорили, будто бы значит, что он ее прикончил и таким образом проводил в вечный дом; а пошел соблюдать свою душу, это он ушел куда-нибудь в пустыню, всего вернее куда-нибудь на Афон или на Валаам, где будто бы и насчет паспортов не очень строго, да и за женитьбу тоже не очень бракуют, а если хороший человек, то его не прогонят, и он там будет себе жить, и молиться, и действительно, хоть и убил жену, а душу свою соблюдет, потому что там всегда труд, песнопение, пост и до смерти жизнь без соблазна, а по смерти братский неугасимый канун. Как вы хотите, в этом было нечто столь вероподобное, что все так на этот рассказ и положились. Вдобавок же ко всему, недели через две или несколько позже где-то у Екатерингофа или в Чекушах волною прибило к берегу подвергшееся гнилости тело молодой женщины, лица которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тонкое белое и черное шелковое платье, как раз такое, в котором видели в последний раз швейцарку Любу. Правда, что большинство черных шелковых платьев все похожи одно на другое, но подозрение не рассуждает: к молодой утопленнице никто не признавался ни из родных, ни из знакомых, и потому домашними Анны Львовны и ею самою было решено и утверждено, что эта утопленница не кто иная, как несчастная Люба, жена свирепого и мстительного Рауля, швейцара Павлина Певунова, пропавшего без вести.

Это обстоятельство не прошло без последствий: погиб-

шую женщину схоронили, и Анна Львовна была так добра, что отпустила для нее десять рублей на гроб и на помин души Любы. Таким образом, благодаря христианской заботливости Анны Львовны были устроены заупокойные молитвы о душе безвременно погибшей Любы, а полиция для очищения своей души учинила розыски о губителе. Отзывов о месте нахождения Павлина, однако же, ниоткуда не последовало. Наконец даже говорили, что будто бы какой-то переодетый квартальный ездил на Валаам, но и там не отыскал скрывающегося Павлина и не мог доставить его со святого острова в тюрьму. Больше искать его было негде, и поиски прекратились: времени ушло день за день много, и про Павлина забыли. И позабыли про него так хорошо, что не вспомнили о нем и до сих пор, кроме одного раза, когда в аукционной камере продавали неразворованные остатки имущества «безвестно пропавшего Певунова».

Но где же делись Павлин и Люба?

Для этого мы должны вернуться назад, к тому времени, когда потеряли их из виду.

Павлин, простясь со мною, прошел к жене никем не замеченный. Люба, увидя мужа, затрепетала. Она никогда не видала его таким добрым, и оттого он ей и показался таким страшным.

Он наскоро переоделся, одел жену, взял все, что находил нужным, и вывел Любу из дома Анны Львовны. Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее куда-то ве-

зут. Павлин и Люба встретили ссыльного Додичку на первой станции. Люба не показывалась, но Павлин предстал моему милому кузену на крыльце, но предстал не в злобе оскорбленного мужа, а в великой кротости смирившего себя христианина, и сказал ему:

– Будьте милостивы и великодушны, скажите: любили ли вы мою жену?

– Да; что же тебе нужно? – отвечал Додичка, еще не отвыкший тогда чувствовать свое барское превосходство перед стоявшим против него лакеем.

– Я вам сейчас скажу, что мне нужно, – отвечал смиренный Павлин, – но вы извольте мне прежде ответить: любите ли вы ее и теперь?

– Да, люблю, ну и что же такое?

– Только-с, только-с всего, и она вас тоже любит, ужасно любит... и... и сама мне об этом сказала.

– Ты ее об этом спрашивал?

– Да-с; я ее об этом спрашивал, и она мне прямо во всем призналась и плакала... Что делать: я виноват за нее богу!

Додичка ушам своим не верил и не понимал, что это значит? А Павлин вышел в это время в соседнюю комнату и вывел оттуда за руку свою смущенную жену и сказал:

– Вот она-с; она мне больше не жена! Господь Иисус Христос разрешил человеку оставить жену ради греха... седьмой заповеди. Она мне в этом грехе созналась, и к тому же сами видите ее в том положении, что она будет матерью, а ребенку

тому не я отец...

– Ну! – воскликнул, не понимая, чем это кончится, Додичка.

– По всему этому я ее по божественному закону от себя отпускаю... И как она вас столь преданною любовью любит, то берите ее и женитесь на ней!

– Ты с ума сошел! – оправдился Додичка. – Как я могу на ней жениться?

– Почему же нет?.. Разве вам унизительно?.. Напрасно-с. Я бы ей даже не советовал выходить за вас, потому что я знаю, какой вы человек, и ей счастья с вами не будет, но и она сама это знает и все-таки вас в сердце имеет, так тут делать нечего... Ей бы надо в монастырь идти, а ее еще в пропасть тянет, так пусть же это будет хоть без греха и срама; а потому... женитесь!

– Но ты постой, Павлин, – залепетал, оправдываясь, Додичка, – я ведь совсем не то... не потому... а что ты жив еще...

– Да-с, я жив; я жив еще, и бог знает, сколько еще промаячу, но я рук на себя и для нее даже не наложу. Вчера я об этом думал, но...

При этих словах Люба взвизгнула и бросилась в темный угол с сжатыми у лица руками.

– Гм, видите! – молвил, болезненно улыбнувшись, Павлин, – она меня не любит, и ей за меня тяжело, а вам за нее словно бы нет, а между тем она вас все-таки любит... Лю-

би она меня сотую долю так, как она вас любит, я бы даже ссылку с нею за рай почитал... Ну да что толковать!.. Все равно: извольте ее теперь взять, и поезжайте... и... женитесь на ней... я за этим буду наблюдать, и... если вы не сделаете, как я говорю, то... – он пригнулся к уху Доди и добавил: – не понуждайте меня ко греху: я теперь говорю вам смиренно, как христианин, а то я вас убью; непременно-с убью, и сразу убью, где бы вы ни были, я вас найду и убью, за нее... за жену... за беззащитную... Везде... во храме господнем убью.

Павлин, должно быть, говорил это очень решительно или кузен мой был уже слишком большой трус, но только у него вдруг отпала всякая охота отказываться от женитьбы на Любе, и он изъявил на это свое полное согласие. Впрочем, возможно, что он дал это согласие, имея в уме твердое намерение никогда его не исполнить, тем более что имел основание рассчитывать на возможность скрыться от Павлина. В этих соображениях он только указал старику на то обстоятельство, что немедленное бракосочетание его с Любою невозможно, потому что жену живого мужа с другим не перевенчают, но Павлин отвечал:

– Ну, уж об этом вы не беспокойтесь, это мое дело: я к тому времени умру, а вас с ней перевенчают.

– Ты умрешь?

– Да; я умру.

«Умрет, а между тем хочет убивать меня, – думал Додя. – Бедный старик, как они, эти простые люди, иногда любят!..

Мне его даже жалко: он помешался».

XV

С этим они разъехались – и Додя, конечно, считал себя совершенно освобожденным и от наскучившей ему жены Павлина, которую он не прочь был показывать как свою любовницу, но никак не хотел иметь своею женою. Додя ехал хорошо. Так как он не был собственно осужденным преступником и преступление его, хранясь под сурдинкой, давало ему полное основание выдавать себя за обыкновенного гвардейского шалуна, то он везде пользовался по пути снисхождением начальств, а сопровождавшие его жандармы, видя это снисхождение, мирволили ему еще более. Он путешествовал не спеша, не по срочному маршруту; останавливался в подорожных городах, принимал посещения и сам посещал лиц, вниманию которых был рекомендован доброжелателями Анны Львовны из Петербурга, и даже заживался кое-где под предлогом усталости и болезни. Будучи немножечко практиком, он даже научился извлекать некоторые выгоды из своего подневольного положения и, умалчивая о настоящей причине своего изгнания из столицы, давал чувствовать, что тут замешены каким-то боком деспотизм, преследующий его любовь к свободе. Это на Руси издавно служило в пользу всех обращающихся к этому средству практических людей, и Додя, интересничая своим страдальчеством *за свободу мысли*, даже имел некоторый успех у мужчин и легко

входил в фавор у дам... Словом, все шло для нашего изгнанника как нельзя лучше, и он таким образом отбыл половину своего пути, как вдруг на самом перевале через Урал на него – как будто из вековых снегов и туманов – глянул Павлин!.. Да ведь какой Павлин: грозный и неотразимый, видимый и незримый, действующий и несуществующий.

Знаете: когда читаешь в повести или романе какое-нибудь чрезвычайное событие, всегда невольно думаешь: «Эх, любезный автор, не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи гораздо мудренее всякого вымысла – и между тем такие странности часто остаются совсем незамеченными. Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?» Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и всеконечно еще с большею пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнение не в том: удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном: возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол? Первый мой Павлин совершил поистине нечто гораздо более замечательное, тем паче что этот Павлин был человек простой и любил свою жену понатуральнее, чем герой упомянутого мною, столь известного в летописях литературы, рома-

на.

Додичка приехал в какой-то городок, которого я вам не назову, да тут и не в названии дело. Здесь мой милый кузен надеялся найти лиц, к которым он имел открывающие благоволение письма. Рассчитывая тут приотдохнуть и понежиться, он пристал за болезнию в единственной тамошней гостинице рядом со станцией и, послав жандарма с посланием по адресу, уже успел а là Хлестаков перемигнуться с какою-то соседкою из противоположного дома, – соседкою, лица которой он, к слову сказать, надлежащим образом не рассмотрел, потому что чуть она появилась у окна в комнате, снаружи, перед этим окном вдруг встал и начал протирать рукавом стекла высокий, лохматый, седой старик с огромною бородою и в неестественной, по понятиям Додички, оленьей шубе. И черт его знает, откуда он взялся? Додичка его, правда, слегка заметил сидящим у окна на заметенной снегам завалине, но он ему с первого взгляда показался более похожим на старого козла, чем на человека, – и вдруг это чучело вскакивает и едет по стеклам своими лапами, точно нарочно для того, чтобы лишить доброго юношу возможности наслаждаться красотой соседки... И он таки своего достиг, этот старик: Додичка не рассмотрел заинтересовавшей его соседки, но это, впрочем, ему было совершенно все равно: она ему понравилась по одному чутью – и с его стороны не было более никаких препятствий разыграть с ней мимолетную интрижку, тем более что соседка, сколько он

мог судить, тоже им, вероятно, заинтересовалась. По крайней мере Додя имел основание так думать, потому что занимательная незнакомка, заметив его, очевидно не без умысла несколько раз мелькнула в окне. Досадно было только то, что она все мелькала немножко слишком быстро, так что Додя никак не мог ее хорошо рассмотреть. Но зато это, конечно, еще более раздражило его любопытство, и он присел к окну с твердою решимостию не встать с места, прежде чем ее хорошенько увидит. Дело было под вечер; один жандарм был в откомандировке с письмом, другой, оставшийся для порядка на карауле после длинного переезда на тряском облучке, оглушительно храпел в передней на чемодане. Додя все сидел у окна и все дожидался, не покажется ли еще раз пояснее в окне его интересное *vis-a-vis*... Судьбе заблагорассудилось его побаловать: вот в окне блеснул слабый свет, на столе появилась зажженная свеча, а между нею и окном выдвинулся и стал силуэт женской фигуры. Опять весьма эффектное, но самое неудобное положение. Какая же женщина, желая показать себя, станет или сядет между темным окном и свечою, освещающею ее сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или уже очень опытная кокетка, желающая производить свои коварные упражнения над неопытным человеком. Но Додя – не провинциальная простофиля: он прошел хорошую петербургскую школу у женщин и, конечно, хотел считать себя человеком опытным: он не зажжет у себя огня, и соседке его нельзя будет видеть, занимается он ею или нет?

Таким образом, если она не кокетка, а податливая романическая простушка, то она непременно попадет на эту удочку. Это ей покажется досадно: она не поостережется и, рассердясь, подойдет сама принять свою свечку – и тогда он ее увидит; а если она ловка и хитра, как... как, например, была в Петербурге эта Люба, от которой он, слава богу, так далеко теперь откатился, то тем лучше: она будет хорошо наказана за свою хитрость и может просидеть хоть до завтра, или пока этот ее седой козел закроет ставни... А кстати, где делся этот седой козел? Его что-то нет... Впрочем, легок оказался и он на помине: не успел сидящий во тьме Додя о нем подумать, как ему послышалось, будто скрипнула дверь его номера, и когда он обернулся, ожидая увидеть перед собою посланного им с письмом жандарма, то, вместо этого вестника, перед ним стоял упомянутый козловатый старик. Он взошел тихо и, имея на ногах мягкие валеные сапоги, тихо же подошел к самому креслу Додички и остановился у него за плечами так близко, что когда мой кузен обернулся, то они стали нос к носу с таинственным пришельцем. Додя, как все наглые люди, был большой трус и, при подобной встрече невыразимо потерявшись, едва произнес упавшим голосом:

– Что вам здесь нужно?.. Эй ты!.. жандарм!

Но жандарм спал крепко и не слышал зова.

– Не беспокойтесь-с, – отвечал таинственный посетитель голосом, в котором не было ничего страшного, но от которого трусливого Додю забила лихорадка. – Не беспокойтесь,

я к вам по маленькому делу не от себя...

– Павлин!.. Это ты?

– Тсс! позвольте... Что такое Павлин? никак нет; вы ошибаетесь, я не Павлин: не знаю никакого Павлина, я совсем другой человек, я мещанин Спиридон Андросов, простой мещанин... да-с, и со мною мой паспорт есть... хороший паспорт, законный: с печатью, и все проименовано. Спиридон Андросов, мастеровой, хожу для промысла и бумагу свою часто прописываю. Куда приеду, сейчас же ее прописываю... для осторожности тоже и здесь неделю тому назад прописал...

– Но это ты... ты сам Павлин! Разве я тебя не знаю?

– Никак нет, я Спиридон Андросов.

– Что же вам от меня нужно?

– Мне совершенно ничего; а я вам принес записочку, вот извольте получить.

– От кого это?

– От одной вдовы тут... да, молодая вдова... извольте прочесть: сами увидите, что тут такое.

Кузен мой за минуту пред сим был уверен, что перед ним стоит не кто иной, как окосматевший Павлин, но услышав соблазнительные слова о вдове и ее записке, он как-то все упустил из виду и торопливо зажег свечу, чтобы скорее прочитать бумажку, и вдруг неожиданно уронил ее снова; теперь не могло быть ни малейшего сомнения в том, что стоявший перед ним человек был Павлин Певунов. Он только чрезвы-

чайно оброс седыми волосами вокруг всей головы и лица да вырядился в какой-то полуазиатский костюм, но тем не менее всякий, кто его знал, не мог бы не сказать, что это он, Павлин, сам, собственнойшею своею особой. И в его глазах ясно читалось, что он видит, что его узнали, и понимает, что не узнать его невозможно. Кузен мой ото всего этого так растерялся, что на сей раз уже громко закричал:

– Павлин... Что ты от меня хочешь, проклятый Павлин?.. – Но при этих его словах пришлец так сильно сдавил Додю в косточках руки, что молодой фронт присел книзу и пролепетал: «Ах ты, дерзкий!» и в растерянности опять взял оброненную им бумагу: это была церковная выписка из книги об умерших, где значилось, что около полутора месяца тому назад в таком-то городе скоропостижно умер и погребен царскосельский мещанин Павлин Петров Певунов, а вдове его, Любови Андреевой Певуновой, выдано в том сие свидетельство с подписью и печатью.

Так вот кто эта вдова! Эта вдова была не кто иная, как сама влюбленная в Додю Люба. Дело было поставлено круто и узловато – и результатом всего этого вышло, что Додичка, не доехав до места своего назначения, женился на «швейцарке Любе». Посягнул он на это, не оказав никакого сопротивления, а как будто даже и с удовольствием. Почему это произошел в нем такой куркен-переверкен – рассказать не умею, но думаю, что тут играли роль все большее и большее удаление его от дома и, по мере большего удаления, все более и более

чувствуемое сиротство. Они-то, вероятно, пробудили в нем живые чувства к нежно любившей его женщине, а тут и ее красота, и романическое положение, а может быть, и угрожающие настояния Павлина, и суетная боязнь, как бы этот чудак не разгласил, за что Додичка сослан, и тем не сбил его с его политической позиции, – одним словом, все это вместе или порознь подвинули моего кузена к тому, что он даже с удовольствием обвенчался с женою Павлина, а мещанин Спиридон Андросов был при их свадьбе и расписался свидетелем в обыскной книге. – Надеюсь, вы меня не станете расспрашивать: как же это могло стать, что Павлин похоронил самого себя и добыл в том свидетельство своей вдове? Эти вещи у нас не сказка, а побывальщина: умер на постоялом дворе прохожий, Павлин стакнулся с кем надо, сунул в суму покойника свой паспорт, а его бумагу взял себе, – вот и дело сделано. В Новороссийском крае когда-то при крепостных бегах это систематически делалось, и оттого там были не в редкость люди, которые по паспортам до полутора ста лет доживали. Умрет Иван семидесяти лет, его паспорт берет сорокалетний Петр, и пошло продолжение возраста... Однако это более касается до наших статистиков, а я продолжаю, или, лучше сказать, оканчиваю мою повесть.

XVI

Молодые, поселясь в назначенном им для житья крохотном городишке, решительно не знали, чем им занять себя и что делать. Привязанность Любы не могла надолго осчастливить Додю, который в качестве петербургского светского юноши любил жизнь общественную и душа которого жаждала сильных ощущений. Не имея желания, а может быть, не находя в себе и силы отстать от этого образа времяпрепровождения, он и теперь в этом скверном своем положении отыскал каких мог подходящих ему по вкусам «политических» людей между насыльным сбродом, пьянствовал с ними простой водкой, играл на мелкие деньжонки в карты, дергал и передергивал, был часто бит и наконец, к великому своему, но едва ли сознаваемому им счастью, совсем убит в драке, за неправильно взятый с кону пятиалтынный. Во все время этой жизни, продолжавшейся около двух лет, Люба пила, что называется, горькую чашу жесточайшего страдания, но в этой унылой горести своей постоянно была поддерживаема письмами и деньгами Спиридона Андросова, который, как видно, не упускал ее ни на минуту из вида и был на страже ее спокойствия. Он определился где-то неподалеку на службу к какому-то золотопромышленнику и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не изменившихся в нем с переменою имени, он скоро приобрел себе уважение и день-

ги, и из последних почти ничего на себя не тратил, а все берег для Любы. Не знаю, как Люба распорядилась этими сбережениями, которые пересылал ей ее отставной муж, но, вернее всего, можно полагать, что если не все эти деньги, то по крайней мере большую их часть пропивал и проигрывал ее настоящий муж, совершенно распившийся и омужичивший Додичка. Говорили, что он отнимал у Любы все, иногда самыми грубыми требованиями, а в другой раз даже и побоями... Павлин все это знал, как будто он тут вот и жил с ними, но не смутил души Любы ни на одно мгновение и не воспользовался ее разочарованием в Доде для того, чтобы разлучить их друг с другом. Совсем напротив: Павлин поддерживал Любу большими и прекрасными письмами, которые по некоторому случаю сделались моим достоянием, и я храню их как редкий и превосходный образец простого, но глубокого философски-мистического умствования необразованного, но умного и могучего волею человека. Эти письма, писанные «от грешного раба к состраждущей Любви», имеют немножко характер посланий: в них автор говорит, как бы уже он свое все вынес, отстрадал и, быв искушен, сам теперь может помогать искушаемым. В некоторых из них, и даже очень во многих, Павлин ничего не пишет жене об интересе дня, а дает советы, убеждает ее быть терпеливою, благоразумною, доброю, неизменно верною и преданною избранному ею мужу. Если читать эти письма в хронологическом порядке и читать по времени их следования одного за

другим, то в них невольно обращает на себя внимание постоянно усиливающийся дух религиозного мистицизма. Автор сначала как будто соболезнует доле Любы и говорит о необходимости терпения, потому что от нетерпения бывает еще горше; но потом он мало-помалу видоизменяет этот мотив и начинает ее убеждать, что она должна радоваться, если несчастна, и сам радуется, да радуется так, что вначале поневоле чувствуется смущение: не овладело ли душою автора низкое злорадство к очевидным несчастьям изменившей ему Любы; но потом, ближе вникая в дальнейшие письма, вы видите, что пером их сочинителя водит иное чувство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо, можно сказать, неземной любви – и притом любви самой заботливой и самоотреченной, но строгой. Павлин учит Любу терпеть для блага других и для искупления своих заблуждений и, убеждая в этом доводами довольно старыми, издавна известными из книг духовного содержания, излагает эти доводы с такою живостью и непосредственным даром убедительного красноречия, что как бы придает им новую живую силу. Он несомненно заботится об одном: *возродить духом* погибающую Любу – и, вероятно, видя из ее ответных писем, что это озабочивающее его возрождение возможно, он принимает совсем отеческий тон и даже в самом обращении к ней употребляет слова «дочь моя». Последнее письмо с этим воззванием вначале исполнено своеобразнейшей и трогательной нежности, не поглощаемой покрывающим его общим локальным су-

ровым колоритом: в этом письме Павлин, подписывающийся «Спиридоном Андросовым», пишет: «Не унывай; не нам, слабым, а святому апостолу Павлу ангел сатаны был дан в плоть его, но он его победил, и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчеством провидца, и Люба его так и приняла, когда, через несколько дней после получения этого письма от первого своего, умершего миру, мужа, второй ее муж был избит в драке и умер у ее дверей, в которые не мог попасть спяна. Она тотчас же известила об этом событии Павлина, и тот немедленно же явился к ней: они вместе похоронили как должно Додю и... вслед за тем немедленно же вместе исчезли. Куда? Никто этого не знал; но я вам расскажу то, чего и никто не знает: за Киевом, над Днепром, в темном дремучем бору есть бедный женский монастырек. Бедность и незначительность этой обители такова, что ее иначе и на называют, как *монастырек*: там некогда была начальницею моя тетка Ольга и там же была монахиня, потом схимница, Людмила. Она скончалась очень недавно, всего несколько лет тому назад, далеко еще не в преклонных годах, *ослепнув от слез*. Эта милая, чистая сердцем старица с *выплаканными глазами*, в орбиты которых у нее для благообразия были вставлены кругленькие перламутровые образки, была настоящий ангел кротости и милосердия; о доброте ее и всепрощающей христианской любви и теперь еще с умилением и слезами вспоминают не только сестры бед-

ной обители и посещающие монастырек богомольцы, но даже евреи близлежащего торгового местечка. О ней известно, что она была вдова человека очень хорошей фамилии и поступила в монастырь, потеряв мужа, а привез ее сюда на собственной лошади очень издалека какой-то суровый человек – *молмальник*, от которого никто не слышал ни одного слова. На могиле ее нет памятника, объясняющего ее происхождение, а стоит простой дубовый крест с надписью: «Схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь». Крест этот над нею поставил тот же схимник, приходивший в монастырек после смерти сестры Людмилы из далекой суровой обители, которой мне вам называть незачем. Не знаю также, нужно ли вам пояснять и то, что эта «схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь», была не кто иная, как наша знакомая швейцарка Люба; а схимник, который пришел и поставил на ее могиле крест, был Павлин, иноческого имени которого я не знаю, а хоть и знаю, так не скажу. Вот какие тайны и какие характеры живут иногда в стенах наших монастырей.

– И этот схимник... как его? – заговорила одна из дам.

– Что такое?

– Он жив еще?

– Мне кажется; по крайней мере в прошлом году он был еще жив.

– И вы его видели?

Рассказчик сделал утвердительный знак головою.

– Где же? Неужто здесь, на этом острове, – на этом Вала-

аме?

– Ну, не все ли это равно для вас, – воображайте его где хотите: он везде возможен.

1874